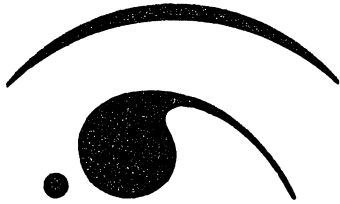


Душев
Боздеевич



АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ



ВЗГЛЯД

СТИХИ
И
ПОЭМЫ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА

1972

*«Взгляд» — новая лирическая книга
Андрея Вознесенского. Это девятый сбор-
ник стихов, выпускаемый поэтом. В него
вошли стихи и поэмы из числа написан-
ных автором за последнее время. Как и
показывает название, цель автора —
«остановить взглядом мгновение», увидеть
сущность события и предмета через их
внешнюю форму, вещьность, оболочку.
В книгу органично входят лирические
репортажи, историческая тема соседствует
с темой любви и природы.*

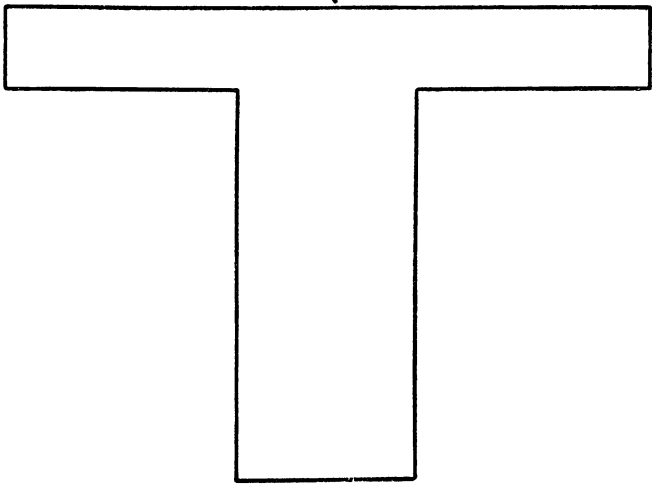
Художник В. л. Медведев



УМА БЫ НЕ

СОЙ

И



ИСПОВЕДЬ

**Ну что тебе надо еще от меня!
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!**

**На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня!**

**Смеялась: «Ты ангел!» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылезил из спален.
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня!**

**Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо еще от меня!**

**Но и под лопатой спою, не вина:
«Пусть я удобренье для божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».**

**И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня!»**

СОБАКАЛИПСИС

*Моим милым четвероногим слушателям
Университета Саймон Фрейзер*

**Верю
всякому зверю,
тем паче
обожаю концерт собачий!**

**Я читаю полулегально
вам, борзая, и вам, легавая!**

**Билетерами не опознан,
на концерт мой пришел опоссум.
И, приталенная как у коршуна,
на балконе присела кожанка.**

**Мне запомнилась — гибкой масти,
изнывая, чтоб свет погас,
до отказа зевнула пастью,
точно делают в цирке шпагат.**

**С негой блоковской Незнакомки,
прогибающаяся спиной,
она лапы, как ножки шезлонга,
положила перед собой.**

**Зал мохнат от марихуаны,
в тыщу глаз, шалый кобель.
В «Откровении Иоанна»
упомянут подобный зверь.**

**Грозный зверь по имени Фатум,
и по телу всему — зрачки.
Этот зверь —
лафа фабриканту,
выпускающему очки!**

**Бюрократы, мотайте папочки!
Воет волхв.
Ферлингетти, Овечья шапочка,
в серой шапочке — красный волк.**

**В шкуре волка душа — овечка.
Он прикурил от повестки в суд.
В судное время нам всем повестки.
И это касается псов и сук.**

**Суди, лохматое поколенье!
Если не явится бог судить —
тех, кто вешает нас в бакалейне,
тех, кто иудить пришел и удить.**

**И стоял я, убийца слова,
и скрипел пиджачишко мой,
кожа, содранная с коровы,
фаршированная душой.**

**Где-то сестры ее мычали
в электродоильниках-бигуди.
Елизаветинские медали
у псов поблескивали на груди.**

**Вам, уставшие от мицуки¹,
я выкрикиваю привет
от московской безухой суки,
у которой медалей нет.**

**Но зато эта сука — певчая.
И уж ежли дает концерт,
все Карузо отдали б печени
за господень ее фальцет!**

**Понимали без перевода
Лапа Драная и Перо,
потому что стихов природа —
не грамматика, а нутро.**

**Понимали без перевода
и не англо-русский словарь,
а небесное, полевое
и где в музыке не соврал...**

¹ Сорт духов.

**Я хочу, чтоб меня поняли.
Ну, а тем, кто к стихам глухи,
разъяснит двухметровый колли,
обнаруживая клыки.**

ЗАУРАЛЬСКАЯ ПЛЯСКА

**«Скрытымным» — это пляшут омичи?
скрип темниц! или крик о помощи!
или у Судьбы есть псевдоним,
темная ухмылочка — скрытымным!**

**Скрытымным — то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним.
«Ты-мы-ыы...» — с закрытыми глазами
в счастье стонет женщина: скрытымным.**

**Скрытымным — языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопромату,
но часто не учитываем скрытымным.**

**«Как вы поживаете!» — «Скрытымным...»
«Скрытымным!» — «Слушаюсь. Выполним».**

**Скрытымным — это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводем.**

**Вьюга безликая пела в Елабуге.
Что ей померещилось? — скрытымным...**

**А пока пляшите, пьяны в дым:
«Шагадам, магадам, скрытымным!»
Но не забывайте — рухнул Рим,
не поняв приветствия: «Скрытымным!»**

ПЕСНЯ АКЫНА

**Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, господь, второго —
чтоб вытянул петь со мной!**

**Прошу не любви ворованной,
не денег, не орденов —
пошли мне, господь, второго,
чтоб не был так одинок.**

**Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!**

**Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, ну, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.**

**И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.**

**Прости ему. Пусть до гроба
одиначеством окружен.
Пошли ему, бог, второго —
такого, как я и он.**

СОЛОВЕЙ-ЗИМОВЩИК

**Свищет всенощною сонатой
между кухонь, бензина, щей
сантехнический озонатор,
переделкинский соловей!**

**Ах, пичуга микроскопический,
бьет, бичует, все гнет свое,
не лирически —
гигиенически,
чтоб вы выжили, дурачье.**

**Отключи зажиганье, собственник.
Стекла пыльные опусти.
Побледней от внезапной совести,
кислорода и красоты.**

**Что поет он! Как лошадь пасется,
и к земле из тела ея
августейшая шея льется —
тайной жизни земной струя.**

**Ну, а шея другой — лимонна,
мордой воткнутая в луга,
как плачевного граммофона
изгибающаяся труба.**

**Ты на зиму в края лазоревы
улетишь, да не тот овес.
Этим лугом сердце разорвано,
лишь на родине ты поешь.**

**Показав в радиольной лапке
музыкальные коготки,
на тебя от восторга слабнут
переделкинские коты.**

**Кто же тронул тебя берданкой!
Тебе Африки не видать.
Замотаешься в шарфик пернатый,
попытаешь перезимовать.**

**Ах, зимою застынут фарфором
шесть кистей рябины в снегу,
точно чашечки перевернутые,
темно-огненные внизу...**

**Как же выжил ты, мой зимовщик,
песни мерзнущий крепостной!
Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик,
голос, тронутый хрипотцой!**

**Бездыханные перерывы
между приступами любви.
Невозможные переливы,
убиенные соловьи.**

**2 СЕКУНДЫ 20 ИЮНЯ 1970 г.
В ЗАМЕДЛЕННОМ ДУБЛЕ**

*Посвящается АТЕ-36-70, автомашине
Олжаса Сулейменова*

1

**Олжас, сотрясенье — семечки!
Олжас, сотрясенье — семечки,
но сплевываешь себе в лицо,
когда 36-70
летит через колесо!
{30 метров полета
и пара переворотов.}**

**К а к: «100» при мгновенье запуска,
сто километров запросто.
Азия у руля.
Как шпоры, вонзились запонки
в красные рукава!**

**К т о: дети Плейбоя и Корана,
звезда волейбола и экрана,
печальнейшая из звезд.
Тараним!
Расплющен передний мост.
И мой олимпийский мозг
впечатан в металл, как в воск.**

**Как над «Волгою» милицейской
горит волдырем сигнал,
так кумпол мой менестрельский
над крышей цельнолитейной
синим огнем мигал.
Из смерти, как из наперстка.**

**Выдергивая, как из наперстка,
защемленного меня,
жизнь корчилась и упорствовала,
дышала ночными порами
вселенская пятерня.**

**Я — палец ваш безымянный
или указательный перст,
выдергиваете меня вы,
земля моя и поляны,
воющие окрест.**

3

**Звезда моя, ты разбилась!
Звезда моя, ты разбилась,
разбилась моя звезда.
Прогнозы твои не сбылись,
свистали твои вестя.**

**Знобило.
Как ноготь из-под зубила,
синяк чернел в пол-лица.**

4

**Г д е: в мраке, пропахшем кошмами,
в степи, за жилой чертой;
к о г д а: за секунду до космоса,
в секунде от жизни живой.**

**Бедная твоя мама...
Бедная твоя мама,
бежала, руки ломала:
«Олжас, не седлай АТЕ,
сегодня звезды не те.
С озер не спугни селезня,
в костер не плескай бензин,
АТЕ-36-70
обидеться может, сын!»**

5

**{Потом проехала «Волга» скорой помощи,
еще проехала «Волга» скорой помощи,**

позже
не приехали из ОРУДа,
от пруда
подошли свидетели,
причмокнули: «Ну, вы — деятели!
Мы-то думали — метеорит».
Ушли, галактику поматерив.
Пролетели века
в виде лебедя-чужака,
со спущенными крыльями, как вытянутая рука
официанта с перекинутым серым полотенцем.
Жить хотелось.
Нога и щека
опухли,
потом прилетели Испуги,
с пупырышками и в пухе.)

6

Уже наши души — голенькие.
Уже наши души голенькие,
с крылами, как уши кроликов,
порхая меж алкоголиков
и утренних крестьян,
читали 4 некролога
в «Социалистик Казахстан»,
красивых, как иконостас...

А по траве приземистой
эмалью ползла к тебе
табличка «36-70».
Срок жизни через тире.

**Враги наши купят свечку.
Враги наши купят свечку
и вставят ее в зоб себе!
Мы живы, Олжас. Мы вечно
будем в седле!**

**Мы дети «36-70»,
не сохнет кровь на губах,
из бешеного семени
родившиеся в свитерах.
С подачи крученые все мячи,
таких никто не берет.
Полетный круговорот!
А сотрясенье — семечки.
Вот только потом рвет.**

ДВОЮРОДНАЯ ЖЕНА

**Я — двоюродная жена.
У тебя — жена родная!
Я сейчас тебе нужна,
я тебя не осуждаю.**

**У тебя и сын и сад.
Ты, обняв меня за шею,
поглядишь на циферблат —
даже крикнуть не посмею.**

**Поезжай ради Христа,
где вы снятые в обнимку.
Двоюродная сестра,
застели ему простынку!**

**Я от жалости забьюсь.
Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь.
И запрячу бритву в пояс.**

ДЕКАБРЬСКИЕ ПАСТБИЩА

М. Сарьяну

**Все как надо — звездная давка.
Чабаны у костра в кругу.
Годовалая волкодавка
разрешается на снегу.**

**Пахнет псиной и Новым Заветом.
Как томилась она меж нас.
Ее брюхо кололось светом,
как серебряный дикобраз.**

**Чабаны на кону метали —
короли, короли, короли.
Из икон, как из будок, лаяли —
кобели, кобели, кобели!**

**«Ав, ав, мадонна,
аллилуйя,
да осенят щенята твои...»**

**А она все ложилась чаще
на репы и сухой помет
и обнюхивала сияющий
мессианский чужой живот.**

**Шли бараны черные следом.
Лишь серебряный все понимал —
передачу велосипеда
его контур напоминал.**

**Кто-то ехал в толпе овечьей,
передачу его крутя,
думал: «Сын не спас Человечий,
пусть спасет собачье дитя».**

**Он сопел, белокурый кутяша,
рядом с серенькими тремя.
Стыл над лобиком нимб крутящийся,
словно малая шестерня.**

**И от малой той шестеренки
начинались удесятеренно
сумасшествие звезд и блох.
Ибо все, что живое — Бог.**

**«Аполлоны», походы, страны,
ход истории и века,
ионические бараны,
иронические снега.**

**По снегам, отвечая чаяньям,
отмечаясь в шоферских чайных,
ирод Сидоров шел с мешком,
с извиняющимся смешком.**

ДОНОР ДЫХАНИЯ

**Так спасают автогонщиков.
Врач случайная, не ждавши «скорой помощи»,
с силой в легкие вдувает кислород —
рот в рот!**

**Есть отвага медицинская последняя —
без посредников, как жрица мясоедная,
рот в рот,
не сestroю, а женою милосердия
душу всю ему до доньшка дает —
рот в рот,
одновременно массируя предсердие.**

**Оживаешь, оживаешь, оживаешь.
Рот в рот, рот в рот, рот в рот.
Из ребра когда-то созданный товарищ,
она вас из дыханья создает.**

**А в ушах звенит, как соло ксилофона,
мозг изъеден углекислотою.**



СКРЫТАЯ
КАМЕРА

МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Природа, — говорю, — Россия,
назад не отпусти!»

ЖЕНЩИНА В АВГУСТЕ

Присела к зеркалу опять,
в себе как в роце законной,
все не решаешься признать
красы чужой и незнакомой.

В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по-летнему
листва зеленая видна,
а в хмурый — медная заметнее.

КАБАНЬЯ ОХОТА

I

Он прет
на тебя, великолепен.
Собак
по пути позарезáv.
Лупи!
Ну, а ежели не влепишь —
нелепо перезаряжать!
Он черен.
И он тебя заметил.
Он жмет
по прямой, как глиссерá.
Уже
между вами десять метров.
Но кровь твоя четко-весела.

II

Очнусь — стол как операционный.
Кабанья застольная компанейка
на 8 персон.

И порционный,
одетый в хрен и черемшу,
как паинька,
на блюде ледяной, саксонской,
с морковочкой, как будто с соской,
смиранный, голенький лежу.

Кабарышни порхают меж подсвечников.
Копытца их нежны, как подснежники.
Кабабушка тянется к ножу.
В углу продавил четыре стула
центр тяжести литературы.
Лежу.

Внизу, элегически рыдая,
полны электрической тоски,
коты с окровавленными ртами,
вжимаясь в скамьи и сапоги,
визжат, как точильные круги!

(А коротышка кот с башкою стрекозы,
порхая капронными усами,
висел над столом и, гнусава,
просил кровяной колбасы.)

Озяб фаршированный животик.
Гарнир умирающий поет.

И чаши торжественные сводят
над нами хозяева болот.
Собратья печальной литургии,
салат, чернобыльник и другие,
ваш хор
меня возвращает вновь к Природе,
оч. хор.
и зерна, как кнопки на фаготе,
горят сквозь моченый помидор.

III

Кругом умирали культуры —
садовая, парниковая, византийская,
кукурузные кудряшки Катутла,
крашеные яйца редиски
(вкрутую),
селедка, нарезанная как клавиатура
перламутрового клавесина,
попискивала.
Но не сильно.

А в голубых листах капусты,
как с рокотовских зеркал,
в жемчужных париках и бюстах
век восемнадцатый витал.

Скрипели красотой атласной
кочанные ее плеча,
мечтали умереть от ласки
и пугачевского меча.

Прощальнойю позолотой
петергофская нимфа лежала,
как шпрота,
на черством ломтике пьедестала.

Вкусно порубать Расина!

И, как гастрономическая вершина,
дрожал на столе
аромат Фета, застывший в кувшинках,
как в гофрированных формочках для
желе.

И умирало колдовство
в настойке градусов под сто.

IV

Пируйте, восьмерка виночерпиев.
Стол, грубо сколоченный, как плот.
Без кворума Тайная Вечеря.
И кровь предвкушенная и плоть.

Погашены подсвечники, и сини
гляделочки в черной щетине.
Клыки их вверх дужками закручены.
И рыла тупые над столом —
как будто в мерцающих уключинах
плывет восьмивесельный паром.

Так вот ты, паромнице Харона,
и Стикса пустынные воды.
Хреново!
Хозяева, алаверды!

У

Я пью за страшную свободу
отплыть, усмехнувшись, в никогда.
Мишени несбывшейся охоты,
рванем за усопшего стрелка!

Чудовище по имени Надежда,
я гнал за тобой, как следопыт.
Все пули уходили, не задевши.
Отходную! Следует допить.

За неуловимое Искусство.
Но пью за отметины дробин.
Закусывай!
Не мсти, что по звуку не добил.

А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю.
Ты обозналась. Ты вина чужая!
Молчит она. Она не ест, не пьет.
Лишь на губах поблескивает лед.

А это кто? Ты?! Ты ж меня любила...
Я пью, чтоб в тебе хватило силы
взять ножик в чудовищных гостях.
Простят убийство —
промах не простят.

Пью кубок свой преступный, как агрессор
и вор,
который, провоцируя окрестности,
производил естественный отбор!

Зверюги прощенье ощутили,
разлукою и хвоей задышав.
И слезы скакали по щетине,
и пили на брудершафт.

VI

Очнулся я, видимо, в бессмертья.
Мы с ношей тащились по бугру.
Привязанный ногами к длинной жерди,
отдав кишки жестяному ведру,
качался мой хозяин на пиру.

И по дороге, где мы проходили,
кровь свертывалась в шарики из пыли.

ДВЕ ПЕСНИ ПРО МОТОГОНЩИКА

I. ОН

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волосы твои распущенные
шептал первые слова.

Та же дача полутемная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо мое смятенное
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки
белокурые свои
наматывает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят

в кольца черные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
усмехается как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущенные черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встает
горестная артиллерия —
ангел черный, ангел белая —
перелет и недолет!

Белокурый недолееток,
через годы темноты
вместо школьного, далекого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамины
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
черная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твое «до завтра».
До завтра б досуществовать!

II. ОНА

Волосы до полу, черная масть —
мать.

Дождь белокурый, застенчивый вдрожь —
дочь.

«Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю
ночь,

дочь».

«В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать».

«Я — его первая женщина, вернулся до ласки охоч,
дочь».

«Он — мой первый мужчина, вчера я боялась
сказать,
мать».

«Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь,
прочь!..»

.

«Это о смерти его телеграмма,
мама!..»

ХОЗЯЙКИ

В этом доме ремонт завели.
На вошедшего глянут с дивана
две войны, две сестры по любви,
два его сумасшедших романа.

Та в смятенье подастся к тебе.
А другая глядит не мигая —
запрокинутая на стене
ее малая тень золотая.

У нее молодые — как смоль.
У нее до колен — золотые.
Вся до пяток — презренье и боль.
Вся любовь от ступней до затылка.

Что-то будет? Гадай не гадай...
И опять ты влюблен и повинен.
Перед ними стоит негодяй.
Мы его в этой позе покинем.

Потому что ремонт завели,
перекладываются паркетны.
И сейчас заметут маляры
два квадратных следа от портрета.

СКУПЩИК КРАДЕНОГО

I

Приценись ко мне в упор,
зубки — платина.
Ты опаснее, чем вор,
скупщик краденого!

Лоб крапленный полон мыслями,
белый как Наполеон,
челка с круглыми залысинами
липнет трефовым тузом...

Все фиксируется скаредно.
И пугливая душа
в одиночной скрытой камере
затаилась не дыша.

Символы предметов реют
в твоей комнате паучьей,

как вещевая лотерея:
вещи есть — но шиш получишь!

Урки и протоиереи —
совладельцы лотереи.
Символичной Лорелеи
воровская лотерея.

II

Кражи, шмотки и сапфиры
зашифрованы в цифири:

«№ 4704 . . . мотоцикл марки «Ява»,
«Волга» (угнанная явно).

Неразборчивая
цифра списанная машина шифера,
пешка Бобби Фишера,
ключ от сейфа с шифром,
где деньги лежат.

200 000 гора Арарат,
на остальные пятнадцать номеров
выпадает по кофейной чашечке с
вензелем
отель «Украина»,
печать райфина
или паникадило (по желанию),
четырёхкомнатная «малина»
на площади Восстания,
или старый «Москвич» (по желанию).

236-49-45 . . . непожилая,
но крашенная под серебро прядь
поможет Вам украсть
тридцать минут счастья + кофе в
номер, а?
(или пятнадцать рублей денег).
Демпинг!
(тем же награждаются все
последующие
четные номера).

№ 14709 . . . Памятник. Кварц в позолоте.
С надписью «Наследник — тете».

Инв. № 147015 Библиотечный штамп лиловый.
Золотые буквы сбоку:
«Избранное поэта О-ва»
(где сто двадцать строчек Блока).

№ 22100 . . . Пока еще неизвестно что.

№ 48. Манто, кожаное, но
хлоркой сведено пятно.

№ 1968 Судья класса «А»,
мыло «Москва».

На оставшийся 21 билет
выпадает 10 лет».

И горит незачтено
хлоркой смытое пятно.

Кто кожаночку купил?
(Не скрыть крапинку.)

Где хозяйюшка, упырь,
скупщик краденого?

Ставь лампадку в изголовье,
кушай рисовый отвар.
Только выпив чьей-то крови,
размножается комар.

III

Размечталась, как пропеллер,
воровская лотерея:
«Бриллианты миссис Тэйлор,
и ворованные ею
многодетные мужчины,
и ворованная ими
нефть печальных бедуинов,
и ворованные теми
самолеты в Йемене,
и ворованное время
ваше, читатель, к этой теме,
и ворованные Временем
наши жизни в море бренном,
где ворованы нырятьщиком
бриллианты нереальные,
что украли душу, тело
у бедняжки миссис Тэйлор»...

IV

И на голос твой с порога,
мел сметая с потолков,

заглянет любитель Блока
участковый Уголков,
потоскует синеоко
и уйдет, не расколов.

(Посерьезнее Голгоф
участковый Уголков.)

С этой ночи нет покоя.
Машет в бедной голове
синий махаон с каймою
милицейских галифе.

Чуть застежка залоснилась,
как у бабочки брюшко.
Что вы, синие, приснились?
Укатают далеко.
(Где посылки до кило.)

Дочь твоя ушла, вернулась
и к окошку отвернулась,
молода, худа и сжата,
плоскозада, как лопата,
со скользящим желобком —
закопает вечером
с корешами вчетвером!

Рысь, наследница, невеста.
И дежурит у подъезда
вежливый, как прокурор,
эксплуатируемый вор.

Он заместо математики
(«Скушай, гадина!»)
вынет винт к еловой матери,
скупщик краденого.

V

«Хорошо б купить купейный
в детство северной губернии,
где безвестность и тоска!..
Да накрылись отпуска.

Жжет в узле кожанка краденая.
Очищают дачу в Кратове.
Блюминг вынести — раз плюнуть!
Но кому пристроишь блюминг?..»

По Арбату вьюга дует...
С рацией, как рыболов,
эти мысли пеленгует
участковый Уголков.

ХРАМ ГРИГОРИЯ НЕОКЕСАРИЙСКОГО, ЧТО НА Б. ПОЛЯНКЕ

Название «неокесарийский»
гончар по кличке Полубес
прочел как «неба косари мы»
и ввел подсолнух керосинный,
и синий фон, и лук серийный,
и разрыв-травы в изразец.

И слезы очи засорили,
когда он на небо залез.

«Ах, отчаянный гончар,
Полубес,
чем глазурный начинал
голубец?»

Лепестки твои, кустарь,
из росы.
Только хрупки, как хрусталь,
изразцы.

Только цвет твой, как анчар,
ядовит...»

С высоты своей гончар
говорит:

«Чем до свадьбы непорочней,
тем отчаянней бабец.

Чем он звонче и непрочней,
тем извечней изразец.

Нестираема краса —
изразец.

Пососите, небеса,
леденец!

Будет красная Москва
от огня,

будет черная Москва,
головня,

будет белая Москва
от снегов —

все повылечит трава
изразцов.

Изумрудина огня!

Лишь не вылечит меня.

Я к жене чужой ходил. Луг косил.

В изразцы ее кровь замесил».

И, обняв оживший фриз,
белый весь,

с колокольни рухнул

вниз

Полубес!

Затуманила слеза
соль веков,
изумрудные глаза
изразцов...

Когда в полночи бессонной
гляжу на фриз полубесовский,
когда тоски не погасить,
греховным храмом озаримый,
твержу я: «Неба косари мы.
Косить нам — не перекосить».

6

Жадным взором василиска
вижу: за бревном, острó,
вспыхнет мордочка лисички,
точно вечное перо!

Омут. Годы. Окунь клюнет.
Этот невозможный сад
взять с собой не разрешат.
И повсюду цепкий взгляд,
взгляд прощальный. Если любят,
больше взглядом говорят.

ВРОМКА

Над пашней сумерки нерезки,
и солнце, уходя за лес,
как бы серебряною рельсой
зажжет у пахоты обрез.

Всего минуту, как, ужаля,
продлится тайная краса.
Но каждый вечер приезжаю
глядеть, как гаснет полоса.

Моя любовь передвечерняя,
прощальная моя любовь,
полоска света золотая
под затворенными дверьми.

ay
ay
B a HK y B EP
!

Ванкувер — канадский Сан-Франциско.

Ванкувер аukaется с воркующими нахохленными особняками, белокурым заливом, запретным куревом, студенческим бытом кувырком, бородами «а-ля Аввакум», лыжными верхотурами холмов и вечнозелеными парками-вековухами, небоскребами с антисейсмическими фундаментами в задах, как ваньки-встаньки, с лесным «ку-ку» и людским «откуда вы?» — и черт знает с чем еще аukaется Ванкувер!

Канада горизонтальна. Заселена только сравнительно узкая полоска над американской границей. Как слой сливок на кринке молока. Или на пейзажах Рериха — полоска земли и полотно неба над нею. Это всегда угадывающееся небо над Канадой, свободная природа до полюса: зеленое небо лета и белое — зимы.

«Белая геометрия зимы» — так чисто и замороженно сказано в стихах Роберта Форда. И лето, и зиму я застал в Канаде.

Зимние канадцы — все в резиновых сапогах, будто в городах проводится воскресник по уборке картофеля. Четыре метра снега выпало в этом году. Сапоги — огромные черные боталы на «молниях». Носят их на обувь. Под сапогами — замшевые лодочки, полусапожки щеголей, бутсы, а то и босые желтковые пятки хиппи. Зеркальной резины касаются опушки алых стрелецких макси-тулупов, черные полы кавалерийских шинелей, лимонные шарфы до полу и почти той же длины льняные локоны студентов и студенток. Пешеходы без шапок, как во время мессы. Сапоги мои вязнут в бело-рыжем месиве распутицы.

И такого же бело-рыжего цвета моя тетрадь. Она давно без обложки и размякла от ношения в кармане. Края ее вспухли, измочалились, уже почти каша, в них полустертые записи, зарисовки, модные лозунги: «Уи мен либ» («Освобождение женщины»), «Грас ин класс» («Марихуану в класс»), цифры, заметки с процесса Роуза, обвиняемого в убийстве Лапорта, фантастические атаки профессио-

нального хоккея, туристические трюизмы и стихи, стихи, — как на беду, много писалось в эту поездку!



В Ванкувере теплынь. Это почти на одной параллели с Алма-Атой. Здесь пастбища хиппи. (Торонто подарил им гостиницу-небоскреб в центре города. Они оплели ее, как плющ, изнутри своими космами, плакатами, растительным бытом, сладковатым дымком. В Ванкувере им отвели полпляжа.)

Цель моего приезда в Канаду — читать по городам стихи студентам. Один мой друг шутил перед отлетом: «Осторожнее, рядом Америка!»

Америка вломила в мой номер спозаранку. Она наполнила комнату хохотом. В руках у нее был круглый каравай. Одна голова ее была одета в серый каракулевый пирожок-«москвичку» и страшно кололась алюминиевой бородой. Другая башка была белокура и посвечивала скандинавскими озерными зрачками.

Первую звали Лоуренс Ферлингетти — поэт, агитатор, главарь сан-францисского бунтарства. Он недавно отсидел свое за Вьетнам. Года два назад он прокатился в зимнем экспрессе от

Москвы до Владивостока. В больнице в Находке его еле спасли от воспаления легких.

Вторая голова принадлежала Роберту Блаю, тоже поэту протеста, гривастому гиганту в мексиканской белой накидке. Получив национальную премию за сборник стихов, он сразу отдал ее в антивоенный фонд «Сопротивление». На огромном обветренном лице его беззащитно дрожали стеклышки очков без оправы, как будто присели крылышки стрекозы. Друзья прилетели потолковать «за жизнь» и обчитать стихами.

Об одном из ванкуверских вечеров расскажу. Амфитеатровая аудитория университета живописно пошевеливалась во мраке. Вперемежку со студентами, как живая иллюстрация к движению за освобождение животных, сидели, лежали в невозмутимоленивых позах доги, сенбернары и рыжие канадские колли. Дети интуиции, они, казалось, дышали в такт чтению. По краю декоративной переборки деловито и изящно в зал пробирался оранжевый енот.

...Вечер вылился в вечер дружбы трех поэзий — канадской, американской и русской. Голос молодого канадского поэта Сеймура Мэйна сливался с

хриплым рыком Ферлингетти. Как слушали его! Он читал о маленьком человечке, тупом винтике системы, он уничтожал его, растапывал на эстраде, оплакивал его.

Уставши, он закидывал голову, как воют волки, и прикладывался к горлышку «Столичной». Бутылка была давно пуста, но, видимо, и это его вдохновляло.

Роберт Блай в своем панчо, как расписной коробчатый змей или викингский штандарт, парил над аудиторией, дирижируя длинными пальцами гипнотизера и хирурга. На утро Блай показал свои стихи об этом вечере, а я написал «Собакалипсис».

Думал ли я, что дружба наша аукнется через месяц страшной телеграммой из Сан-Франциско? «Роберто Обрегон убит полицией... Подробности письмом. Полон горя. Твой брат Роберт Блай».



Поразительный поэт Роберто Обрегон Моралес! Он гватемалец. Крепыш и философ, в «Стихах из глины» он звонко остановил хрупкий мир предощущений. Он бродил по Котельнической набережной в развязанной

смушковой ушанке, пылко говорил об Октавио Пазе, о структурализме. Южные слова у губ его застывали в плотный овальный парок. По-мужски точно и горько он пожал плечами в стихотворении «Моя пуля»: «Одна из пуль вопьется мне в череп». Последняя открытка пришла от Обрегона из Мексики. Его микроскопический почерк сообщал, что перевел мою книжку стихов, и просил пригласить в Москву. Его выволокли из поезда и убили.

ПРИГЛАШЕНИЕ РОБЕРТО ОБРЕГОНУ МОРАЛЕС

**Приглашаю тебя, Обрегон.
Во Владимир торжественный съездим,
высоту его обретем,
мой задумчивый Обрегон,
обожаящий аперкот,
революцию и поэзию!**

**Ты из Мексики мне писал,
что мои переводы осилил,
что на сердце твоём печаль,
и просил пригласить в Россию,**

**где береза в полях пустых
сбросит листья себе под ноги,
вся прозрачная, как бутылка,
на червонном, круглом подносе.**

**Приглашаю тебя, Обрегон,
но ты выбрал иные гости,
тебе машут с иных берегов
Лорка, Лермонтов, Маяковский.**

**И еще один, синеок,
подписал тебе приглашение,
через лоб ему, как венок,
надевали петлю нашейную.**

**Не парнасские небожители
ждут тебя, коренастый горнист, —
гениальные нарушители
полицейских, мирских границ.**

**Приглашаю тебя, Обрегон.
Приглашение опоздало.
Ты застрелен в упор стрелком
у проклятой погранзаставы.**



Но пока еще бланк телеграммы лежит незаполненный, а мы радостны и беспечны, мы окунулись в Ванкувер. Университет под названием «Саймон Фрейзер» — один из красивейших в мире. На вершине холма рассекают поднебесье чистые горизонталы. В зелень кутается другой — университет Ванкувера. Его гордость — экономная

грация естественного японского сада. Хорошо, когда учебные комплексы — за городом. У нас такой в Долгопрудной, но жаль, что их еще мало.

Новая архитектура Канады очень интересна. Сосредоточен, углублен в себя дворец искусств в Оттаве, это такое уютное чудо. А ратуша — небоскреб в Торонто! Две вертикальные плоскости ее парят, как две поставленные на расстоянии створки раковины — кажется, что вот-вот послышится гул между ними!



Знаменитый Маршалл Маклюен живет в Торонто. Оракул для одних, электронный шаман для других, он потряс своими книгами о влиянии средств связи на человека. В них меня всегда поражали парадоксальность, поиск, провокация сознания. В последней книге «Противовзрыв», которую он подарил мне, много говорится о слове и его начертании.

Профессор Маклюен сухопар, высок. Внешне напоминает персонажей Жюль Верна. Когда увлекается, смотрит сквозь собеседника, будто страдает дальновзоркостью. Сидит прямо, острые колени в полосатых брюках

обтянуты и сжаты, как у статуи Озириса на троне.

Чтобы уединиться, мы поднимаемся с ним по скрипучей деревянной лестнице на полуэтаж. Под нами сквозь прямоугольную дверь гостиной видны освещенные прически, бокалы, обнаженные плечи. Маленькая комната плавает над ними, как плот. Беседа идет о силлабике и, конечно, о наших продолженных чувствах — системах телесвязи.

В разговоре он ясен и метафоричен, как алгебра. Он вряд ли читал Хлебникова, но ключ к Маклюэну в хлебниковской фразе: «Человечество чисел, вооруженное и уравнением смерти, и уравнением нравов, мыслящее зрением, а не слухом».

После моего чтения в Торонто он позвонил утром и в игольчатый телефонный проводок, сублимируясь в звуковую энергию — на то он и Маклюэн! — очень интересно более получаса делился впечатлениями о русском стихе, гудел, дитя и фанатик, об обществе слуховом и звуковом. Мне же всегда казалось, что поэзия, синтезируя звук и зрительность, станет основой нового, будущего сознания.

Переводы на том вечере читал Уинстон Оден, живой классик, мамонт

силлабики, несомненно, великий поэт англо-язычного мира. Мне не раз доводилось читать с ним в Штатах, и всегда это адски трудно, ибо магнетизм его, сидящего справа на сцене, порой оказывается сильнее магнетизма зала. Так и разворачивает к нему!

Я был на авторском вечере Одена в Торонто. Неточно, что сегодня на Западе не слушают стихов. Хорошие — слушают. Притихший молодой зал внимал сложнейшим колдовским средневековым языковым пассажам и блестящим ядовитого юморка. Читал Оден академически тихо, с подвязанным вокруг шеи микрофончиком под галстуком. Микрофон капризничал, свистел, фонил. Матерый мастер растерянно и лукаво щурился. Техника брала за горло поэта — как тут не вспомнить Маклюена!



На вечерах и встречах я говорил о сегодняшнем творчестве Твардовского и Мартынова, Ахмадулиной и Бокова, Евтушенко и Межирова, Тарковского, Симонова, Окуджавы и других наших поэтов. Когда рассказывал о Катаеве, пришли строчки:

**В жилетке, точно туз козырный,
прищурясь как парижский сноб,
Катаев, как малокозырку,
надвинет челочку на лоб!**

Сердце сжималось, когда при имени Сергея Есенина в зале вспыхивали аплодисменты. Я читал им его лирику. Думаю, впервые Есенин по-русски звучал со сцены в Канаде. Читал я и Маяковского, Пастернака и других.

Несмотря на, казалось бы, северный темперамент, канадская аудитория восприимчива и чутка.

Поэтический мэтр Канады — Ирвинг Лэйтон. Крупная лепка головы, тяжелое литье прически. Нагрудная цепь с гольбейновской бляхой лежит на свитере крупной вязки, хмуром и древнем, как кожа слона в его известном стихотворении. Он любит поэзию как таковую, а не дилетантскую болтовню о ней. Последнее время некоторых стихотворцев повело на высокомерные статьи о коллегах. Думается, что поэт доказывает свою правоту не статьями, а стихами. Бернард Шоу любил цитировать древних: «Поучает тот, кто не может сделать сам».

Практичны и глубоки поиски Джона Коломбо, конструктора стиха, близкого в чем-то Семену Кирсанову. Он

монтирует в свои стихи, как в коллажи, пословицы, мифологические цитаты.

Жаль, что их еще мало знают у нас. Надо знать соседей по поэзии. Нельзя представить Пушкина и Лермонтова без их знания подлинников Вольтера или Байрона. А Блок?

Ведущий поэт современной Америки — Роберт Лоуэлл.



Что молвить о Лоуэлле?

Вижу его, высокого, отстраненного, среди гулкой аудитории, или в гостиной, или на опустевшей предутренней улице, — вижу его, слегка склонившего голову к левому плечу, так, что подбородок чуть касается шеи.

Мне всегда кажется, что он играет на скрипке.

Скрипка невидима. Его веки полуприкрыты. Он вслушивается в музыку, которая обычно называется Историей, Человеческим бытием, Летой. И иногда морщится, когда оркестр особенно дисгармоничен.

Партитура его сложна. У него свой мир, своя логика.

Когда-то в стихах, посвященных ему, я сближал по звуку слова «Лоуэлл» и «колокол». Бешеный фанатизм

проповедника, порой барокко, а порой метафизика XVII века, нарочитая старомодность английского лада, порой мифология, порой трогательность Чехова и Флобера соседствуют у него с дерзким экспериментом. Критик Альварес писал о поэте: «Поэзию его нельзя растолковать и понять досконально, нужно уметь быть благодарным, что существует некто, записавший такое».

Лауреат Пулитцеровской премии, он один из первых протестовал против вьетнамской войны, публично оскорбив Джонсона.

Мы ужинали с ним у Кеннеди. По телевизору в тот вечер показывали теледьюэль между Робертом Кеннеди и Риганом. Живой осунувшийся Роберт Кеннеди сидел рядом с Лоуэллом в кресле и цепко вглядывался в своего элегантного бесплотного двойника на экране. Был май. В окна небоскреба с балкона самоубийственно светили белые яблони. Разве чувствовал кто, что скоро мертвое тело сенатора вывалится из телеэкранов во все дома оцепеневшей Америки?

Один Лоуэлл улавливал что-то. В улыбке его были беспомощность и тоска.

Поэт чует гибельность мира.

Одна из знаменитейших его вещей — «Калигула». В римском тиране, прозванном «сапожком» за обувь, которую он носил в детские годы, запечатлена гибель детства.

Культура — не остров, а взаимосвязь с культурой соседних времен и народов. Не случайно среди страниц Лермонтова, Тютчева мы находим, как листы осеннего гербария, названия: «Из Байрона», «Из Гейне». В «Калигуле» современность, ахнув, аукнулась с Римом. Друзья стали звать Лоуэлла «Кэл» — по аналогии с Калигулой.

КАЛИГУЛА

Мой тезка, сапожок, Калигула,
давным-давно, еще в каникулы,
твоя судьба меня окликнула,
и впилась в школьные миндалины
рука с мерцающей медали,
где бедный профиль злобно морщится,
как донышко моих возможностей!

Великолепнейший Калигула!
Уродец, взвитый над квадригою,
чье зло — наивная религия.
Мой дурачок, болезненное детство
просвечивает сквозь злодейство.
Как нервный узел оголимый —
принц боли, узник, скот, Калигула.

**Детсад Истории. Ты — пленник
еще наивных преступлений,
кумир, посадка соколиная,
кликуша, хулиган, Калигула!**

**Вождь двадцатидевятилетний,
добро и зло презрев, дилеммой
в мозгу, не утихая, тикает
боль тяжелейшей паутиной.**

**Живу я ночь твою последнюю,
к тебе в опочивальню следую.
И пальцы узкие убийцы
мне в шею впились, как мокрицы,
следы их, как улитки, липки...**

**А над тобою, как улики,
у всех богов — твои улыбки.
Ты им откокал черепушки
и прилепил свой лик опухший.
Взывая к одноликой клике,
молись Калигуле, Калигула.**

**Читаю: «Тело волосато,
затмил пирами Валтасара».
Читаю: «Гримом рот замазан,
и череп лыс, как бюст из мрамора».
Ты, тонкошей, думал, шельма:
«Всем римлянам одну бы шею».
Мразь гениального калибра,
молись, Калигула!**

Малыш, ты помнишь, как, зареванный,
ты в детстве спал, обняв звереныша.
Сегодня ни одна зверюга
с тобой не ляжет. Нету друга.
А ляжет юноша осенний,
тобой задушенный в бассейне.
Забрызган кровью бог Адонис —
Нарцисс, Калигула, подонок!

И в низкий миг тебя из мрака
пронзит прозрение зигзагом.
Ты все познаешь. Взвоешь криком —
бедняга, иволга, Калигула!
Лежи, сподобленный нездешнему,
в бассейне ледяном и траурном,
катая ядра августейшие,
пока они не станут мраморными...

Молись за малыша, Калигула,
не за империю великую,
за мальчика молись.

Скулило
зверье в загонах. Им спокойней.
Они не знают беззаконий
и муки, свойственной тиранам.
Мы, все забрав, — себя теряем.
Молись за наше время гиблое,
мой тезка, гибельный Калигула.

Блестящая его книга «Вариации».
Это «темы и вариации», в них эхо Го-

мера и Вергилия, нашего Пастернака, Мандельштама и Расина.

Лоуэлл замыкает их с собой, с современностью. Так Пикассо варьирует Веласкеса, а Родион Щедрин лукаво импровизирует на темы Бизе.

В «Вариациях» Лоуэлл сближает культуры. Он относится к истории и культуре как к природе, которая сама есть предмет искусства. В переводах он всегда поэт, всегда Лоуэлл. Подлинная поэзия нуждается в свободе, в личности. Любимые стихи переписываются в тетрадь своим почерком. Не в крохоборстве, а в сути сходство. Как у Пастернака: «Поэзия, не поступайся ширью, храни живую точность, точность тайн...»



Видели ли вы, как фотографируют зеркалкой?

Человек приставляет аппарат к животу или груди и смотрит на него, наклонив голову. Со стороны кажется, что человек рассматривает себя, занят изучением собственного пупа. Но нет! Идет процесс запечатлевания действительности.

Поэт — та же зеркалка, когда мир преломляется, попав через нутро.

Отсюда и творчество — взгляд в себя, изучение внутреннего мира. А значит, и внешнего. Всегда опосредованно. Через личность.



А вот элегическая струна Лоуэлла:

УРОКИ

Не уткнуться в «Тэсс из рода д'Эрбервиллей»,
чтоб на нас иголки белки обронули,
осыпая сосны, засыпая сон!..

Нас с тобой зазубрят заросли громадные,
как во сне придумали обучать грамматике.
Темные уроки. Лесовые сны.

Из коры кораблик колыхнется около.
Ты куда, кораблик! Речка пересохла.
Было, милый, — сплыло. Были, были — мы!

Как укор, нас помнят хвойные урочища.
Но кому повторят тайные уроки!
В сон уходим, в память. Ночь, повсюду ночь.

Память! Полуночица сквозь окно горящее!
Плечи молодые лампу загораживают.
Тьма библиотеки. Не перечитать...

**Чье у загородки лето повторится!
В палец уколовши, иглы барбариса
свой урок повторят. Но кому, кому!**



Раз мы заговорили о лесных снах, нельзя обойти стихи Уильяма Джея Смита. Кремневые скулы, невозмутимость, прорисовка век выдают в нем индейца по происхождению. «Чероки», — устало, но с достоинством поправит он вас, когда вы радостно станете лепетать ему про ирокезов и прочий куперовский ассортимент. Чероки — древнейшее из индейских племен.

Прекрасный мастер, Смит в прошлом году обрел звание Поэта при Библиотеке Конгресса. Для американских поэтов это ежегодный титул типа премии. Стих его современен, напряжен. Свои книги он издает в обложках из алюминия. Мне довелось видеть, с каким восторгом аудитория, далекая от английского языка, слушала его перевод «Телефона» Чуковского — так снайперски адекватно звучали стихи!

У. Д. Смит, как Оден и Лоуэлл, включает в свои сборники переводы стихов наших поэтов. Я рад, что «Осень в Сигулде», «Оза» и другие гостят в

их книжках. Я пригласил в мой сборник «Поезд» Уильяма Джея Смита. Когда я переводил его, с первых же строк «Поезда» меня охватило странное волнение. Оно не объяснялось только превосходным стихом и близостью автора. Голову кружила близость иная.

«Снег сырой, как газета...»

Вспоминались дачные гости далекой переделкинской зимы. Среди них Назым Хикмет. Было порядком выпито. Я пошел его проводить.

Поэт был смертельно болен. Его покрывала испарина. Чтобы не простынуть на улице, он снял ковбойку и обернул грудь старыми газетами. Газеты были и русские и зарубежные. У хозяина дачи их лежало навалом.

Мы вышли. Назым все останавливался, чтобы отдышаться. До его дома было шагов триста, но шли мы около часа. Шел снег. В сумерках он шуршал, как газета. На груди у поэта шуршали события. Шрифтовые заголовки, фото бедствий и светской хроники намокали потом поэта. Он был спеленат в историю. Понятно, я тогда написал стихи об этом. Давно это было.

Но этот газетный снег не отпускал меня, неотвязно стоял в сознании, чтобы сегодня — надо же! — прошуршать

Вылетают гробы из кладбища.

Циклон в апогее.

И валялись столбы в проводах, точно в черных спагетти.

Нас тошнит. Как мне боязно, мама!

Хочу голубой небосвод...

Что за поезд придет?

Твердь Земли — ты эмблема покоя

(по Дарвину).

Устаревшие данные!

**А носило ли вас, как в разболтанном сейнере,
в паническом землетрясении!**

Кони, трупы животных,

люди, пачки с разорванным хлопком.

Ненасытно

земная зевота

разевается и захлопывается.

Нас родившая мать поглощает обратно

в живот.

Что за поезд придет?

Мы не ждем катастрофы. Мы пьем

лошадиными дозами.

Груды трупов наяривают бульдозеры.

Наш голубенький шарик превращаем

в пустыню.

Человек на Луне шарит лапами в шлаках

остылых.

И привозит оттуда

каменюги с мертвящим названием,

ключен и Маркузе», — сказала о них ванкуверка с индейскими скулами.

Речь идет о «Третьем сознании». («Первое сознание» — первооткрыватели Америки, супермены, индивидуалисты. Его сменило «Второе сознание» — винтики технократической машины.) «Третье» — новая волна, молодежь с антилинейным мышлением. Самое преступное для нее — убить в себе себя. «Наша иерархия почти так же незыблема, как в средние века, но мы не имеем бога, чтобы оправдать ее».

Отсюда поиски нового способа общения. Сигаретка или даже бутылка с содовой ходит по кругу как объединяющий ритуал.

Молодежь стремится сделать мир естественным, человеческим. Психология ее меняется. От созерцания к изменению мира. Ответ некоторых в си-неоком шепоте Алеши Карамазова: «Расстрелять!» (на вопрос, что же сделать с изувером, растерзавшим ребенка на глазах у матери).

Как расстрелять — учит сан-францисский подпольный номер журнала «Скэнланз». Притащила его стебельковая корреспонденточка, увешанная, как веригами, тремя фотокамерами. Журнал не удалось отпечатать в Шта-

тах. Отпечатали в Квебеке. Номер называется: «Партизанская война в США».



Премьер Пьер Трюдо строен, артистичен. Молодое смуглое подвижное лицо (он чем-то напомнил мне портреты Камю), динамичное тело слаломиста. Говорит о Тургеневе, живо интересуется Россией.

Дома, в своем уютном особняке, убранном азалиями, за скромным обедом он оказался прост, приветлив, одет в строгий костюм с хризантемой.

А через пару часов я уже наблюдал его на скамье парламента, собранного, острого полемиста, исподтишка, по-мальчишески подмигивающего среди того чинного парламента, где через два дня он озорно брякнет своим оппонентам выражение несколько более рискованное, чем «к черту!».

Нельзя пожаловаться на гостеприимство чудесной канадской публики, на восприятие и чуткость аудитории, особенно молодежной, но очень приятно было выступить в монреальском порту на кораблях нашего Мурман-

ского судоходства, почитать и поговорить по-русски, узнать о житье-бытье моряков, обменяться впечатлениями об удивительной стране Канаде.



Среди собеседников оказались почитатели Юрия Казакова. В «Северном дневнике» он учуял дух моря. Очень люблю прозу Казакова. Как он сейчас?

Вот он сидит за столом — набычась, опустив глаза долу, прикрыв их махонькими светлыми ресничками своими, сидит сложив трубкой губы, так близко сведенные к дрожащим ноздрям, что они кажутся одним общим органом обоняния — таким соплом, дышалом противогаса; так вот и сидит он, вытянув это чудесное нюхало свое, втягивая звук фужеров, цвет сумерек, нас, эпоху, все чует, все пробует на вкус своего нюха. Кажется, не зрение, не слух (хотя он и был виолончелистом в Большом театре), а обоняние — основное художническое чувство Казакова.

Он так и живет среди нас, как представитель рощ, водоемов, неба, как тяжело дышащий кусок тишины, как напоминание о подлинном темном и

вечном, что есть в нас — людях, как в ветвях, рассветах и волчьей шкуре.

Большинство писателей описывает природу, глядя на нее — на ольху, затоны, просеки — глазами сегодняшнего человека. Казаков же глядит на сегодняшнего человека глазами леса, вепря, дворняги, глядит с нежностью, сожалением и родством. Он не описывает ее отстраненно — как описывают эпоху Алой и Белой розы, скажем. Нет, он — целое с ней, они — эти деревья — близки ему и вещественны, как большие пальцы ступни: болят, ноют, чешутся.

Он психолог леса.

Вернее, он сам — большой палец существа, называемого небом, полем, тропинкой. Смешны дискуссии о прогрессе — технике, машинах, лесах и городах. Двух культур не существует. Ибо города — это такой же продукт природы, продукт биотоков мозга. Как будто азотистые или железистые соединения, став автобусом, перестали быть биологическими компонентами процесса, называемого природой.

Это, наверно, так же необходимо ей, как ледниковый период, скажем.

На канадских дорогах, как юрты, стыли машины, занесенные снегом.

‘

**Меня тоска познания точит.
И Беркли в сердце у меня.
Его студенчество — источник
бунтарства, света и ума.**

**А клеши спутницы прелестной
вниз расширялись в темноте,
как тени, расширяясь, если
источник света — в животе.**



**Сложи атлас, школярка шалая, —
мне шутить с тобою легко, —
чтоб Восточное полушарие
на Западное легло.**

**Совместятся горы и воды,
Колокольный Великий Иван,
будто в ножны, вонзится в колодец,
из которого пил Магеллан.**

**Как две раковины, стадионы,
мексиканский и Лужники,
сложат каменные ладони
в аплодирующие хлопки.**

**Вот зачем эти люди и зданья
не умеют унять тоски —
доски, вырванные с гвоздями
от какой-то иной доски.**

**А когда я чуть захмелею
и прошвыриваюсь на канал,
с неба колят верхушками ели,
чтобы плечи не подымал.**

**Я нашел отпечаток шины
на ванкуверской мостовой
перевернутой нашей машины,
что разбилась под Алма-Атой.**

**И висят как летучие мыши
надо мною вниз головой —
времена, домишки и мысли,
где живали и мы с тобой.**

**Нам дорогу укажет хиппи.
Вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча — как черная скрипка
крикнет гамлетовский рукав.**

АВТОМАТ

**Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...**

**Чего вам! Рифм кило!
Автографа в альбом!
Алло!..
Отбой...**

**Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...**

**А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой!
Мы некоммуникабельны.
Отбой...**

**А может, это совесть,
потерянная мной!
И позабыла голос!
Отбой...**

**Стоишь в метро конечной
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замерзнул пальчик твой.**

**А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.**

**Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьется как флажок...**

**Что, мой глухонемой!
Отбой...**

**Порвалась связь планеты.
Дукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.**

**Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.**

ПАНИСТКА

**Итальянка с миною «Подумаешь!»,
черт нас познакомил или бог!
Шрамики у пальцев на подушечках
скользящие, как шелковый шнурок...**

**Детство, обмороженное в Альпах,
снегопад, глобальный снегопад...
Той войной надрезанные пальцы
на всемирных клавишах кричат!**

**Осязаньем, знают, осязаньем
в час самоотдачи и любви
через все попарты и дизайны
эти сумасшедшие твои!**

**Вот зачем, измучивши машину,
ты снисходишь до «ста тридцати».
А когда прощаешься с мужчиной,
за спину ладони заведи.**

**Сквозь его подмышки — горько, робко,
белые, как крылья ангелят,
за спиной огромною Европы
раненые пальчики горят!**



**Где-то свищет, где-то, где-то,
золотым своим дуэтом
на асфальтах городов...**

**В сапожки она одета
с раструбами, как кларнеты,
с дырочками для шнурков
и приманки мужичков!**

**Групповые гонки, групповые койки.
Тих единоличник во фраке гробовом.
У его супруги на всех пальцах —
кольца,
видно, пребывает
в браке групповом...**

**А по-над дорогой хруст серебра.
Здесь сама работа звенит за себя.
Кормят, молодчаги, детей и жен,
ну, а получается
молчальный звон!**

**В этом клестианстве — антипод свиарни.
Чистят короедов — молчком, молчком!
Пусть вас даже кто-то
превосходит в звонарности,
но он не умеет
молчальный звон!**

**Юркие нью-йоркочки и чикагочки,
за ваш звон молчальный спасибо,
клесты.**

**Звенят листы дубовые,
будто чеканятся
византийски вырезанные кресты.**

**В этот звон волшебный уйду от ужаса,
посреди беседы замру, смущен.
Будто на Владимирщине —
прислушайся! —
молчальный звон...**

ВОДНЫЕ ЛЫЖИ

**В трос вросла, не сняв очки бутылки —
уводи!**

**Обожает, чтобы уводили!
Аж щека на повороте у воды.**

**Проскользила — боже! — состругала,
наклонившись, как в рубанке оселок.
Не любительница — профессионалка,
золотая чемпионка ног!**

**Загляжусь твоей слепой свободой,
обмирающею до кишок —
золотою вольницей увода
на глазах у всех, почти что нагишом.**

**Как истосковалась по пиратству
женщина в сегодняшнем быту!
Главное — ногами упираться,
чтоб не вылетела на ходу.**

**«Укради, как раньше на запятках, —
Миленький, назад не возврати!» —
если есть душа, то она в пятках,
упирающихся в край воды.**

**Укради за воды и за горы,
только бы надежен был мужик!
В золотом забвении увода
онемеют десны и язык.**

**Укради на счастье и безденежье,
только бы оставили в зрачках
загостившееся нездешнее
и все ноги в синяках...**

**«Да куда ж ты без спасательной жилетки,
как в натянутой рогаточке свистя!»
Пожалейте, люди, пожалейте
себя!..**

**...Но остался след неуловимый
от твоей невидимой лыжни,
с самолетным разве что сравнимый
на душе, что воздуху сродни.**

**След потери нематериальный,
свет печальный — бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся,
как потом исчезнут и они.**

А через полгода я стоял на сан-францисской улице имени Аргуэльо. Крутая мостовая вела на холм, ввысь, в вековые кедры, в облака, в романтические времена очаровательной Кончиты. Именно здесь, у врат бывшего Команданте, был объявлен ноябрьский сбор антивоенной демонстрации. Сан-Франциско — американский Ванкувер.

Но это уже другая поездка, о ней будет другая речь — и о великой стране, о выступлениях по городам, их будет около тридцати, почти ежедневно, и о новых шедеврах Одена, о пустыне Невады и о «Хэллуине», ряженом празднике прощания с летом, когда вдруг какой-то негодяй вложил детям в традиционно даримые яблоки бритвенные лезвия...

А последний вечер будет в Нью-Йорке. Его вместе с Алленом Гинзбергом мы проведем в пользу пакистанских беженцев. Рядом с мальчишески легким Бобом Диланом, молчаливым серафимом в джинсовой курточке, я сразу не узнал Аллена. Он остриг в Индии свои легендарные библейские патлы и бородищу.

«Как я остригся? Мы пили с буддийским ламой-расстригой. «Что ты

прячешь в лице под волосней, чужеземец?» — спросил лама. «Да ничего не прячу!» Выпили. «Что ты прячешь, чужеземец?» — «Да ничего!» Выпили. «Что ты прячешь?..» Я убежал и остригся».

У моих знакомых есть чёрный щенок — пудель. Сердобольные хозяева, чтобы ему не застило глаза, обстригли шерсть на морде. Смущенный щенок спрятался за балконные занавески, глядел сквозь бахрому, принимая ее за свои исчезнувшие космы, и не выходил, пока они снова не отросли.

Бедный Аллен, как он стыдливо прятал, наверное, свое непристойно зябнувшее нагое лицо! Сейчас у него уже коротко-моложавая борода.

На нашем вечере он пел свои стихи, закрыв очи, аккомпанируя на пронзительно-странном инструменте типа мини-трехрядки. Гулкий готический собор Сент-Джордж, переполненный молодежью, в оцепенении резонировал монотонные ритмы. Аллен пел «Джессорскую дорогу». Я перевел ее. Через четыре дня началась война.

ДЖЕССОРСКАЯ ДОРОГА

**Горе прет по Джессорской дороге,
испражненьями отороченной.**

**Миллионы младенцев в корчах,
миллионы без хлебной корочки,
миллионы братьев без крова,
миллионы сестер наших кровных,**

**миллионы отцов худущих,
миллионы матерей в удушьях,
миллионы бабушек, дедушек,
миллионы скелетов-девушек,**

**миллионам не встать с циновок,
миллионы стонов сыновьих,
груди — выжатые лимоны,
миллионы их, миллионы...**

**Души 1971-го
через ад солнцепека белого.
Тени мертвых трясут костями
из Восточного Пакистана.**

**Осень прет по Джессорской дороге.
Скелет буйвола тащит дроги.
Скелет — девочка. Скелет — мальчик.
И скелет колеса маячит.**

**Мать на корточках молит милостыни:
«Потеряла карточки, мистер!**

**Обронила. Стирала в луже.
Значит — смерть. Нет работы мужу».**

**В меня смотрят и душу сводят
дети с выпученными животиками.
И Вселенская Матерь Майя
воет, мертвых детей вздымая.**

**Почему я постыдно-сытый!
Где ваш черный, пшеничный, ситный!
Будьте прокляты, режиссеры
злого шествия из Джессора!..**

**По Джессорской жестокой дороге
горе тащится в безнадее.
Миллионы теней из воска.
И сквозь кости, как сквозь авоськи,
души скорбно открыты взору
в страшном шествии из Джессора.**

**А в красивом моем Нью-Йорке,
как сочельниковская елка,
миллионы колбас в витринах,
перламутровые осетрины,**

**миллионы котлет на вилках,
апельсины, коньяк в бутылках,
паволока ухи стерляжьей,
отражающаяся в трельяжах,
стейк по-гамбургски, семга, устрицы...**

**А на страшной джессорской улице —
миллионы младенцев в корчах,
миллионы без хлебной корочки,
миллионы, свой кров утратив,
миллионы сестер и братьев.**

ЯБЛОКИ С БРИТВАМИ

**Хэллувин, Хэллувин — ну куда Голливуд!! —
детям бритвы дают, детям бритвы дают!**

**В Хэллувин, в Хэллувин с маскарадными ритмами
по дорогам гуляет осенний пикник.**

**Воздух яблоком пахнет,
но яблоком с бритвами.
На губах перерезанный бритвою крик.**

**Хэллувин — это с детством и летом разлука.
Кто он! — сука! насмешник! добряк! херувим!
До чего ты страшна, современная сука!
Хэллувин...**

**Ты мне шлешь поздравленья, слезами облитые,
хэллувиночка, шуточка, детский овал.**

**Но любовь — это райское яблоко
с бритвами.**

Сколько раз я надкусывал, сколько давал...

**Благодарствую, боже, твоими молитвами
жизнь прекрасный подарочек. Хэллувин.
И за яблоки с бритвами и за яблоки
ты простишь нас. И мы тебя, боже,
с бритвами
простим.**

**Но когда-нибудь в Судное время захочет
и тебя и меня на Судилище том
допросить усмехающийся ангелочек,
семилетний пацан с окровавленным ртом!**

●

Поэму «Авось» я написал в Ванкувере.

Безусловно, в ванкуверские бухты заводил свои паруса Резанов и вглядывался в утренние холмы, так схожие с любезными его сердцу холмами сан-францисскими, где герой наш, «ежедневно куртизируя Гишпанскую красавицу, приметил предприимчивый характер ея», о чем откровенно оставил запись от 17 июня 1806 года.

Сдав билет на самолет, сломав сетку выступлений, под утро, когда затихают хиппи и пихты, глотал я лестные страницы о Резанове толстенного тома Дж. Ленсена, следя судьбу нашего отважного соотечественника.

Действительный камергер, создатель японского словаря, мечтательный коллега и знакомец Державина и Дмитриева, одержимый бешеной идеей, измученный бурями, добрался он до Калифорнии. Команда голодала. «Люди оцынжали и начали слягать. В полнолуние освежались мы найденными ракушками, а в другое время били орлов, ворон, словом ели, что попало...»

Был апрель. В Сан-Франциско, на дев парадный мундир, Резанов пленил

Кончу Аргуэльо, прелестную дочь коменданта города. Повторяю, был апрель. Они обручились. Внезапная гибель Резанова помешала свадьбе. Конча постриглась в монахини. Так появилась первая монахиня в Калифорнии.

За океаном вышло несколько восхищенных монографий о Резанове. У Брет Гарта есть баллада о нем.

Дописывал поэму в Москве.

В нашем ЦГИА хранится рукописный отчет Резанова, частью опубликованный у Тихменева (СПб, 1863). Женственный, барочный почерк рисуют нам ум и сердце впечатлительное.

Какова личность, словесный жест! «Наконец являюсь я. Губернатор принимает меня с вежливостью, и я тотчас занял его предметом моим».

Слог каков! «...и наконец погаснет дух к важному и величественному. Словом: мы уподобимся обитому огниву, об который до устали рук стуча, насилу искры добьешься да и то пустой, которою не зазжешь ничего, но когда был в нем огонь, тогда не пользовались».

Как аввакумовски костит он приобретателей: «Ежели таким бобролюбцам исчислить, что стоят бобры, то есть сколько за них людей перереза-

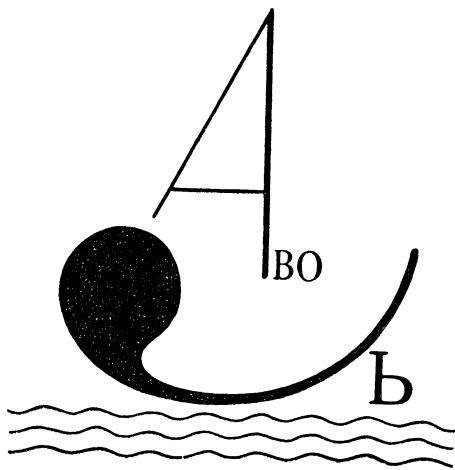
но и погубило, то может быть пониже бобровые шапки нахлобучат!»

Как гневно и наивно в письме к царю пытается исправить человечество: «18 июля 1805 г. В самое тож время произвел я над привезенным с острова Атхи мещанином Куликаловым за бесчеловечный бой американки и грудного сына торжественный пример строгого правосудия, заковав сего преступника в железы...»

В поэму забрели два флотских офицера. Имена их слегка измененные. Автор не столь следаем самомнением и легкомыслием, чтобы избражать лиц реальных по скудным сведениям о них и оскорблять их приблизительностью. Образы их, как и имена, лишь капризное эхо судеб известных. Да и трагедия евангелической женщины, затоптанной высшей догмой, — недоказуема, хотя и несомненна. Ибо неправа идея, поправшая живую жизнь и чувство.

Понятно, образы героев поэмы неадекватны прототипам.

Словом, если стихи обратят читателя к текстам и первоисточникам этой скорбной истории, труд автора был ненапрасен.



«АВОСЬ!»

ОПИСАНИЕ

**в сентиментальных документах, стихах и молитвах
славных аэропловцов Действительного Камер-Гейера**

НИКОЛАЯ РЕЗАНОВА,

**доблестных Офицеров Флота ХВАСТОВА и ДОВЫДОВА,
их быстрых парусников «Юнона» и «Авось»,
сан-францисского Коменданта ДОН ХОСЕ ДАРНО АРГУЭЛЬО,
любезной дочери его КОНЧИ
с приложением карты странствий необычайных.**

«Но здесь должен я Вашему Сиятельству сделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная Консенсия умножала день ото дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и искренность, начали неприменно заполнять пустоту в моем сердце, мы ежечастно зближались в объяснениях, которые кончились тем, что она дала мне руку свою...»

*Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву
17 июня 1806 г.
(ЦГИА, ф. 13, с. I д. 687)*

«Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помощи Божьей надеюсь хорошо исполнить его, мне первому из Россиян здесь бродить так сказать по ножевому острию...»

Н. Резанов — директорам русско-амер. компании 6 ноября 1805 г.

«Теперь надеюсь, что «Авось» наш в Мае на воду спущен будет...»

*от Резанова же 15 февраля 1806 г.
Секретно*

ВСТУПЛЕНИЕ

**«Авось» называется наша шхуна.
Луна на волне, как сухой овес.
Трави, Муза, пускай худо,
но нашу веру зовут «Авось»!**

**«Авось» разгуляется, «Авось» вывезет,
гармонизируется Хавос.
На суше барщина и Фонвизины,
а у нас весенний девиз «Авось»!**

**Когда бессильна «Аве Мария»,
сквозь нас выдѣхивает до звезд
атеистическая Россия
сверхъестественное «авось»!**

**Нас мало, нас адски мало,
и самое страшное, что мы врозь,
но из всех притонов, из всех кошмаров
мы возвращаемся на «Авось».**

**У нас ноль шансов против тыщи.
Крыш-ка!
Но наш ноль — просто красотища,
ведь мы выживали при «минус сорока».**

**Довольно паузы. Будет шоу.
«Авось» отплыть провозгласил.
Пусть пусто у паруса за душою,
но пусто в сто лошадиных сил!**

**Когда ж, наконец, откинем копыта
и превратимся в звезду, в навоз —
про нас напишет стишки пиита
с фамилией, начинающейся на «Авось».**

I. ПРОЛОГ

**В Сан-Франциско ветра пиратствуют —
ЧП!**

**Доченька губернаторская
спит у русского на плече.**

**И за то, что дыханьем слабым
тельный крест его запотел,
Католичество и Православье,
вздвев крыла, стоят у портьер.**

**Расшатываются устои.
Ей шестнадцать с позавчера,
с дня рождения удрала!
На посту Довы́дов с Хвастóвым
пьют и крестятся до утра.**

II

ХВАСЛОВ: «А что ты думаешь, Довыдов...»

ДОВЫДОВ: «О происхожденьи видов!»

ХВАСЛОВ: «Да нет...»

III

(Молитва КОНЧИ АРГУЭЛЬО — БОГОМАТЕРИ)

Плачет с сан-францисской колокольни
барышня. Аукается с ней
Ярославна! Нет, Кончаковна —
Кончаковне посолоней!

«Укрепи меня, Мать-заступница,
против родины и отца,
государственная преступница,
полюбила я пришлеца.

Полюбила за славу риска,
в непроглядные времена
на балконе высекла искру
пряжка сброшенного ремня.

И за то, что учил впервые
словесам ненашей страны,

что как будто цветы ночные,
распускающиеся в порыве,
ночью пахнут, а днем — дурны.

Пособи мне, как пособила б
баба бабе. Ах, Божья Мать,
ты, которая не любила,
как ты можешь меня понять!!

Как нища ты, людская вселенная,
в боги выбравшая свои
плод искусственного осеменения,
дитя духа и нелюбви!

Нелюбовь в ваших сводах законочных.
Где ж исток!
Губернаторская дочь, Конча,
рада я, что сын твой издох!..»

И ответила Непорочная:
«Доченька...»

Ну, а дальше мы знать не вправе,
что там шепчут две бабы с тоской —
одна вся в серебре, другая —
до колен в рубашке мужской.

IV

ХВАСЛОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: Как вздернуть немцев и пиитов!

ХВАСЛОВ: Да нет... **ДОВЫДОВ:** Что деспоты
не создают условий для работы!

ХВАСЛОВ: Да нет...

V

(Молитва РЕЗАНОВА — БОГОМАТЕРИ)

«Ну, что тебе надо еще от меня!
Икона прохладна. Часовня тесна.
Я музыка поля, ты музыка сада,
ну что тебе надо еще от меня!

Я был не из знати. Простая семья.
Сказала: «Ты темен» — учился латыни.
Я новые земли открыл золотые.
И это гордыни твоей не цена!

Всю жизнь загубил я во имя Твоя.
Зачем же лишаешь последней улады!
Она ж несмышлениш и малое чадо...
Ну, что тебе мало уже от меня!»

И вздрогнули ризы, окладом звеня.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня!»

VI

ХВАСЛОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: О макси-хламидах!

ХВАСЛОВ: Да нет... **ДОВЫДОВ:** Дистрофично
безвластие, а власть катастрофична!

ХВАСЛОВ: Да нет... **ДОВЫДОВ:** Вы надулись!
Что я и крепостник и вольнодумец!

ХВАСЛОВ: Да нет. О бабе, о резановской.

Вдруг нас американцы водят за нос!

ДОВЫДОВ: Мыслию, как и ты, Хваслов, —
давить их, шлюх, без лишних слов.

ХВАСЛОВ: Глядь! Дева в небе показалась,
на облачке. **ДОВЫДОВ:** Показалось...

VII

(Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 г.)

«Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороку ни на судне ни на крепости, гишпанские гитары смешивались с русскими песельниками. И ежели я не мог окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт...»

**Помнишь, свадебные слуги, после радужной севрюги,
апельсинами в вине обносили не!**

**как лиловый поп в битловке, под колокола былого,
кольца, тесные с обновки с имечком на тыльной стороне, —
нам примерил не!**

**а Довыдова с Хвастовым, в зал обеденный с восторгом
впрыгнувших на скакуне, —
выводили не!**

**а мамаша, удивившись, будто давленные вишни
на брюссельской простыне, озадаченной родне, —
предъявила не!**

**(лейтенантик Н
застрелился не)**

**а когда вы шли с поклоном, смертно-бледная мадонна
к фиолетовой стене
отвернулась не!**

**Губернаторская дочка,
где те гости! Ночь пуста.
Перепутались цепочкой
два нательные креста.**

**АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЛУ РЕЗАНОВА Н. П.**

(Комментируют арх. крысы — игреки и иксы)

№ 1.

«...но имя Монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут Россияне рабство чуждым народам... Государство в одном месте избавляется вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создает...»

Н. Резанов — Н. Румянцеву

№ 2. ВТОРОЕ ПИСЬМО РЕЗАНОВА — И. И. ДМИТРИЕВУ

**Любезный Государь Иван Иванович Дмитриев,
оповещаю, что достал
тебе настойку из термитов.
Душой я бешено устал!**

Чего ищут! Чего-то свежего!
Земли старые — старый сифилис.
Начинают театры с вешалок.
Начинаются царства с виселиц.

Земли новые — табула рáза.
Расселю там новую расу —
Третий Мир — без деньги и петли,
ни республики, ни короны!
Где земли золотое лоно,
как по золоту пишут иконы,
будут лики людей светлы.

Был мне сон, дурной и чудесный.
[Видно, я переел синюх.]
Да, случась при Дворе, посодействуй —
на американочке женюсь...

ЧИН ИКС:

«А вы, Резанов,
из куртизанов!
Хихикк...»

№ 3. ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ гг. ДОВЫДОВА И ХВАСТОВА

Были петербуржцы — станем сыктывкарцы.
На снегу дуэльном — два костра.
Одного — на небо, другого — в карцер!
После сатисфакции — два конца!
Но пуля врезалась в пулю встречную.
Ай да Довыдов и Хвастов!

Враги вечные на братство венчаны.

И оба — к Резанову, на Дальний Восток...

ЧИН ИГРЕК:

«Засечены в подпольных играх».

ЧИН ИКС:

«Но государство ценит риск».

«15 февраля 1806 г. Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х....., главного действующаго лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезнаго и любезнаго человека, когда в настоящих он правилах... В то самое время покупал я судно Юнону и сколь скоро купил, то зделал его начальником, и в то же время написал к нему Мичмана Давыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил 9¹/₂ ведр французской водки и 2¹/₂ ведра крепкаго спирту кроме отпусков другим и, словом, споил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но к счастью, что матросы всегда пьяны...»

(Из Второго секретного письма Резанова)

«17 июня 1806 г. Здесь видел я опыт искусства Лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справед-

ливость, что одною его решимостью спаслись мы, и столько же удачно вышли мы из мест, каменными грядями окруженных».

Резанов — министру коммерции

РАПОРТ

**Мы — Довыдов и Хвастов,
оба лейтенанты.**

**Прикажите — в сто стволов
жахнем латинянам!**

«Стоп, Довыдов и Хвастов!» —

«Вы мягки, Резанов». —

«Уезжаю. Дайте штоф.

Вас оставлю в замах».

В бой, Довыдов и Хвастов!

Улетели. Рапорт:

«Пять восточных островов

Ваши, Император!»

«Я должен отдать справедливость искусству гг. Хвостова и Давыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их...»

«18 октября 1807 г. Когда я взошел к Капитану Бухарину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне ни Лейтенанту Хвостову не позволялось выходить из дому и даже видеть лицо какого-либо смертного... Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку.»

Вот картина моего состояния! Вот награда, есть ли не услуг, то по крайней мере желания оказать оные. При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей сердце обливается кровью и оскорбленная столь жестоким образом честь заставляет проклинать виновника и самую жизнь.

Мичман Давыдов».

(Выписка из «Донесения Мичмана Давыдова на квартире уже под политическим караулом»)

№ 4. РЕЗАНОВ — И. И. ДМИТРИЕВУ

**Зрю тысячу чудес. Из тысячи
Вам посылаю круг мистический:
из Тьмы рождаясь, Жизнь сия
вновь канет в Тьму небытия...**

№ 5. МНЕНИЕ КРИТИКА ЗЕТА:

**От этих модернистских оборотцев
Резанов ваш в гробу перевернется!**

МНЕНИЕ ПОЭТА

**Перевернется, — значит, оживет.
Живи, Резанов! «Авось», вперед!**

№ 6. ЧИН ИГРЕК:

Вот панегирик:

«Николай Резанов был прозорливым политиком. Живи Н. Резанов на 10 лет дольше, то, что мы называем сейчас Калифорнией и Американской Бри-танской Колумбией, были бы русской территорией».

Адмирал Ван Дерс (США)

**ЧИН ИКС: Сравним
что говорит нам Головнин:**

«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имеющий голову более способную создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам, происходящим в свете...»

Флота Капитан 2-го ранга и кавалер В. М. Головнин

ЧИН ИКС:

**«А вы, Резанов,
пропили замок.
Вот Иск».**

№ 7. ИЗ ПИСЬМА РЕЗАНОВА — ДЕРЖАВИНУ

**Тут одного гишпанца угораздило
по-своему переложить Горация.
Понятно, это не Державин,
но любопытен по терзаньям:**

**«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный.
Увечный**

наш бранный разум цепляется за пирамиды, статуи,
памятные места —
тщета!
Тыща лет больше, тыща лет меньше — но далее ни черта!

Я — последний поэт цивилизации.
Не нашей, римской, а цивилизации вообще.
В эпоху духовного кризиса и цифиризации
культура — позорнейшая из вещей.

Позорно знать неправду и не назвать ее,
а назвавши, позорно не искоренять,
позорно похороны называть свадьбою,
да еще кривляться на похоронах.

За эти слова меня современники удавят.
А будущий афро-евро-америко-азиат
с корнем выроет мой фундамент,
и будет дыра из планеты зиять.

И они примутся доказывать, что слова мои были вздорные.
Сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг...
И я буду счастлив, что меня справедливо вздернули.
Вот это будет тот еще памятник!»

№ 8

«16 августа 1804 г. Я должен так же Вашему Императорскому Величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более препятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь более нежели 30-ть

человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаянье, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными».

(Из письма Н. Резанова Императору)

ЧИН ИКС:

**«И ты, без женщин забуревший,
на импорт клюнул зарубежный!!
Раскис!»**

№ 9

«Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей ея, разность религий, и впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом».

**Отнесите родителям выкуп
за жену:
макси-шубу с опушкой из выхухоля,
фасон «бабушка-инженю»,**

**Принесите кровать с подзорами,
и, как зрящий сквозь землю глаз,
принесите трубу подзорную
под названием «унитаз»**

**[если глянуть в ее окуляры,
ты увидишь сквозь шар земной**

**трубы нашего полушария,
наблюдающие за тобой],**

**принесите бокалы силезские
из поющего хрусталя,
ведешь влево — поют «Марсельезу»,
ну а вправо — «Храни короля»,**

**принесите три самых желания,
что я прятал от жен и друзей,
что угрюмо отдал на заклятие
авантюрной планиде моей!..**

**Принесите карты открытий,
в дымке золота как пыльца,
и, облив самогоном, —
сожгите
у надменных дверей дворца!**

«...они прибегнули к Миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную Концепсию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению Римского Престола, и я принудил помолвить нас, на что соглашено с тем, чтоб до разрешения Папы было сие тайною».

№ 10. ЧИН ИКС:

**«Еще есть образ Божьей Матери,
где на эмальке матовой
автограф Их-с...»**

«Я представлял ей край Российской посуровее и притом во всем изобильной, она была готова жить в нем...»

№ 11. РЕЗАНОВ — КОНЧЕ

**Я тебе расскажу о России,
где злодействует соловей,
сжатый страшной любовной силой,
как серебряный силомер.**

**Там храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд
белоснежные контрофорсы,
будто лошади воду пьют.**

**Их ночная вода поила
вкусом чуда и чебреца,
чтоб наполнить землю силой
утомленные небеса.**

**Через год мы вернемся в Россию.
Вспыхнет золото и картечь.
Я заставлю, чтоб согласились
царь мой, Папа, и твой отец!**

VIII

(В сенате)

**Восхитились. Разобрались. Заклеймили.
Разобрались. Наградили. Вознесли.
Разобрались. Взрєвновали. Позабыли.
Господи благослови!
А Довыдова с Хвастовым посадили.**

IX

(Молитва БОГОМАТЕРИ — РЕЗАНОВУ)

Светлый мой, возлюбленный, студится
тыща восемьсотая весна!
Мать от Любви Своей Отступница,
я перед природою грешна.

Слушая рождественские звоны,
думаешь, я радостна была!
О любви моей незарожденной
похоронно бьют колокола.

Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквах горят светильни.
Плоть не против Духа, ибо дух —
то, что возникает между двух.

Тело отпусти на покаяние!
Мои церкви в тыщи киловатт

**загашу за счастье окаянное
губы в табаке поцеловать!**

**Бог, Любовь Единая в двух лицах,
воскреси любую из марусь...
Николай и наглая девица,
вам молюсь!**

ЭПИЛОГ

**Спите, милые, на шкурах росомаховых.
Он погибнет в Красноярске через год.
Она выбросит в пучину мертвый плод,
станет первой сан-францисской монахиней.**



УБОВЫЙ ЛИСТ
ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЙ

ОДА ДУБУ

Свитезианские восходы.
Поблескивает изречение:
«Двойник-дуб. Памятник природы
республиканского значенья».

Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как роспись лиственно и пламенно, —
куда Сикстинская капелла!

Он умолял: «Скорее спрячемся,
где дождь случайней и ночнее,
и я плечам твоим напрягшимся
придам всемирное значенье!»

Прилип к плечам сырым и плачущим
дубовый лист виолончельный.

Великие памятники Природы!
А приори:
Екатерининские березы,
бракорегистрирующие рощи,
облморе,
и. о. лосося,
оса, желтая как улочка Росси,
реставрируемые лоси.

Общесоюзный заяц!
Ты на глазах превращаешься в памятник,
историческую реликвию,
исчезаешь,
завязав уши, как узелок на дорогу
великую.

Как Рембрандты, живут по описи
35 волков Горьковской области.

Жемчужны тучи обложные,
спрессованные рулонами.
Люблю вас, липы областные,
и вас люблю, дубы районные.

Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?

Мы — двойники. Мы агентура
двойная, будто ствол дубовый,
между природой и культурой,
политикою и любовью.

В лесах свисают совы матовые,
свидетельницы Батория,
как телефоны-автоматы
надведомственной категории.

Душа в смятении и панике,
когда осенне и ничейно
уходят на чужбину памятники
неизъяснимого значенья!

И, перебита крысоловкой,
прихлопнутая к пьедесталу,
разиня серую головку,
«Ночь» Микеланджело привстала.

оз. Святая



Увижу ли, как лес сквозит,
или осоку с озерцами,
не созерцанье — сосердцанье
меня к природе пригвоздит.

Вечерний свет ударит ниц,
и на мгновение, не дольше,
на темной туче восемь птиц
блеснут, как гвозди на подошве.

Пускай останутся в словах
вонзившиеся эти утки,
как у Есенина в ногтях
осталась известь штукатурки.

Как он цеплялся за косяк,
пока сознание не потухло!

**РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ
ПО ВЛАДИМИРУ СЕМЕНОВУ,
ШОФЕРУ И ГИТАРИСТУ**

За упокой Семенова Владимира
коленипреклоненная братва,
разгладивши битлówki, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.
Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый,
ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русский журавель,
в отлете,
орет за тридевять земель:
«Володя!»

Бродил закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери — большой,
золотенький,
под ним для мальчика меньшей...)
Володька!
За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Отныне вечный выходной —
свободен...

Но в Склифосовке филиал
Евангелия.

И Воскрешающий сказал:
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реанимацию.
Ввернули серые твои,
как в новоселье.
Сказали: «Толай. Чти ГАИ.
Пой веселее».

Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все — туда.
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры.
Козыри — крести.
Володька воскресе.
Воистину воскресе!



Б. Ахмадулиной

Мы нарушили Божий завет.
Яблок съели.
У поэта напарника нет,
все дуэты кончались дуэлью.

Мы нарушили кодекс людской —
быть взаимной мишенью.
Наш союз осужден мелюзгой
хуже кровосмешенья.

Нарушительница родилась —
белый голос в полночное время.
Даже если Земля наша — грязь,
рождество твое — ей искупленье.

Был мой стих, как фундамент, тяжел,
чтобы ты невесомела в звуке.

Я красивейшую из жен
подарил тебе утром в подруги.

Я бросал тебе в ноги Париж,
августейший оборвыш, соловка!
Мне казалось, что жизнь — это лишь
певчей силы заложник.

И победа была весела.
И достигнет нас кара едва ли.
А расплата произошла —
мы с тобою себя потеряли.

Ошибясь в этой жизни дотла,
улыбнусь: я иной и не жажду.
Мне единственная мила,
где с тобою мы спели однажды.

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА
В. БОКОВУ

Милый Виктор Федорович,
выйди, Свитер Фертович,
Винтичек Отверткович,
Вытри-слезы-Горькович,
Ветром Свирь-строй Тертович,
Вытегра Осетрович,
Акварель Офортович,
Скворка Фьюить в форткович,
 соловей-работничек,
 свистни сквознячком,
 чтобы девки — навзничь,
 мужички — ничком!

В ТЕМНОМ УГЛУ РАЙОННОГО КРЫТОГО РЫНКА

На рынке полно картин,
все с лебедями и радугами.
А Ванька-авангардист
все кубиками-квадратиками!

Рынок — Малые Лужники.
Слева в фартуках мужички.
Справа сборная команда —
бабы в брюках и помадах.
Справа сумки, слева гири,
справа шутки, слева сбили!
Справа — твисты и зарплаты,
слева — избы и закаты,
слева — «Волги», справа — «Волги»,
слева — к водке, справа — к водке.
Творог в осаде.
Вор в офсайте!
Вавилон из-за томата.
Бабка, попроси тайм-аута!

А Ванька-авангардист
подзуживает, подзуживает
в разбойный судейский свист
свистульки из глины посудной!
Глогает валокордин
профессор в рубашке с напуском.
А Ванька-авангардист
все целит прищуром снайперским.
Он знает неомещан
сберкнижные аппетиты,
юродивый коммерсант,
антихрист нового типа.

«Пейте молочко парное.
У коровы паранойя!»
«Мама — самогонщица.
Явно не смоковница».
Шарлатан тишком из сумки
продает стишки-рисунки.
Эпоха баллистическая
стихов каббалистических!

Клеенщица-конкурентщица:
«Ты докарикатурекаешься!
Сам в треугольник скорчишься,
попей рассол огуречный...»
А он ей: «Цыц, лакировщица!»

Липучий мушиный лист
с Аленушкой.
Клееночный реализм
и модернизм клееночный.

(Висит метла — как танцплощадка,
как тесно скрученные люди,
внизу, как тыща ног нещадных,
чуть-чуть просвечивают прутья.)

Английской булавкой блестят
связки сушеных рыбок.

Нацелен сопливый взгляд.
Он завокует рынок.
(Он знает тайные козыри
и как расписать платок нашейный,
но не понимает колхозных
новых общественных отношений.
Он — досадная соринка
в застекленном оке рынка.)

И ему кажется:
все куплено, куплено, куплено,
выскреблены раструбы.
Толпа — как цыплята под куполом
внимательным, как ястреб.

Продает папаша дочку,
дочка продает папашу,
и друзья, упившись в доску,
тащат друга на продажу.
Весны продаются летом,
продается муж надкусанный,
критик продает поэта,
оба продают искусство.

А Ванька-авангардист
трамбует деньжата в кадочку.
В тоскливую ночь зародил
тебя твой отец припадочный.
Тоскливая ночь любви
пронзала до позвоночника.
Тоскливы лубки твои,
как пьяная поножовщина!

...Пацанка-хромоножка
играет на гармошке.
И рученьки фарфоровые
засунуты в меха,
как руки у фотографа
в таинственный рукав.

Сквозь лобик невозможный
в нахмуренном уме
танцующие ножки
просвечивают мне.

Сидит, как чертик с рожками,
на затылке с ножками.

С прикрытыми глазами
индийский колдунок,
витают над базаром
виденье лунных ног.

«Ах, белые наливки
продалась за рубли,
ах, бедные наивы
надежды и любви...»

А Ванька-авангардист:
«Станцуем, — дразнит, — хромая!»
Он мучит ее, садист,
как совесть свою ромашковую.
А вчера, чтоб ее не кадрил,
избил в туалете карманника.

Атанда, авангардист!
Химерны твои мечтания.
Бедь даже твой козырь давний,
твоя тупиковая дама,
общественница тайная,
в киоске для вод гадая,
тебе не сыграет в лист.



Я хочу в осенней дали
реставрировать, что вижу,
что в себе порастеряли
торгаши и нувориши.

Что-то есть в наивном газике
под брезентовой навеской
от пропахших Средней Азией
первых шлемов конармейских.

В византийских темных красках
вечереющего лета
газик вспыхнет и погаснет,
и чего-то нету, нету...

АХ, НЕБО КАК МОРЕ...

Облака лежали штучные.
У небес пасхальный цвет.
Солнце было в белой тучке,
точно яйца напросвет.

Откровенная локальность
мне напоминала пляж,
где отчетлив и нахален
мой излюбленный типаж.

Шорты белые внатяжку
на телах как шоколад,
как литые унитазаы
в темном воздухе парят.

ЦВЕТНАЯ ПЕСЕНКА

Сто радуг канареечных,
смешайтесь в белый цвет,
как страны и наречья
смешались в Белый Свет.

Так белая бумага
таит в себе цвета,
Ван Гоги бумерангом
сигают из листа!

Да здравствует же радуга
во имя белизны!
За белоснежность ратуя,
зеленого плесни!

Безумствуйте, влюбленные,
по зелени аллея —
чем зеленей зеленое,
тем белое белей.

Жми, заяц, наворачивай
от рыжих кобелей.
Чем яростней оранжевый,
тем белое белей.

Мужайся, оклеветанный,
овечкою не блей —
чернила фиолетовой,
но белое белей!

Художник, будь спектральный.
Душой не индевей.
Чем индивидуальней,
тем ты общественной.



Айда, пушкинианочка,
по годы, как по ягоды!
На голос, на приманочку,
они пойдут подглядывать,

из-под листочков машучи.
Бродяжка и божок,
продуешь, как рюмашку,
серебряный рожок.

И выглянут парижи
малинкой черепичной —
туманные, капризные
головки красных спичек!

Как ядовито рядом
припрятаны кармины.
До черта волчьих ягод,
какими нас кормили.

Все, поздно, поздно, поздно.
Кроме твоей свирельки,
нарядны все, но постны,
и жаль, что не смертельны!

Поляны заминированы,
и все как понарошке.
До черта земляники —
но хочется морошки!

ПЕСЕНКА ИЗ СПЕКТАКЛЯ

Ю. Любимову

Мы пришли на именины
поэмимы, поэмимы,
(мамы — рифмы, папы — мимы,
получались поэмимы).

Было б грустно,
не пойми мы,
в чем искусство
поэмимы.

Снимем гримы,
срежем маски,
средства-мини
сердца-макси.

Подними меня, пойми меня,
но свободно, без нажима.

Наше имя — наше имя —
поэмима, поэмима.

Мы живем, меняя позы,
спины гнем, в мечтах парим мы,
но пойдем довольно поздно,
что свершаем поэмимы.

Пианино, пианино
интересно лишь для слуха.
Поэмима, поэмима
связь телесного и духа.

Сбросьте скользкие сапожки.
Ремесло на вид невинно.
Ошибешься — расшибешься.
Беспощадна поэмима.

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

«Дверь отворите гостье с дороги!»
Выйду, открою — стоят на пороге,
словно картина в раме, фрамуге,
белые брюки, белые брюки!

Видно, шла с моря возле прилива —
мокрая складка к телу прилипла.
Видно, шла в гору — дышат в обтяжку
смелые брюки, польская пряжка.

Эта спортсменка не знала отбоя,
но приходили вы сами собою,
где я терраску снимал у старухи —
темные ночи, белые брюки.

Белые брюки, ночные ворюги,
молния слева или на брюхе?
Русая молния шаровая,
обворовала, обворовала!

Ах, парусинка моя рулевая...

Первые слезы. Желтые дали.

Бедные клеши, вы отгуляли...

Что с вами сделают в черной разлуке
белые вьюги, белые вьюги?

РОМАНС

Затосковала душа, охромела,
позапропала — не взять под уздцы...
Волки, Ирония и Размена,
режьте ее, санитары души.

Чтоб не томила она, не страдала
там, где нашейные позвонки,
широкогрудая санитарка,
благословенно вонзи резак!

Сами все волки пошли на убой.
неистребимая, молодая
Поет стыднее болезни дурной
боль, именуемая душой!

ЧИТАЯ МАХАМБЕТА

Зачитываюсь Махамбетом.
Заслышу Азию во мне.
Антенкой вздрогнет в кабинете
Стрела, торчащая в стене.

Что в моей жизни эта женщина?
Погибель, спасшая меня?
Забьется под стрелюю трещина,
Как пригвожденная змея.

И почему в эпоху лунников
Нам, людям атомной поры,
Все снятся силуэты лучников,
Сутулые, как топоры?

ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра
Благодарю, что не умер вчера.

Пулей соперника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданное брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а по утру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волжба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина,

Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Побита черта.
Нужно прочесть приговор не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с
«ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.

Такая мятная
вода с утра —
вкус богоматери
и серебра!

Плюс вкус свободы
без лишних глаз.
Не слово бога —
природы глас.

Стена и воля.
Вода и плоть.
А вместо соли —
подснежников щепоть!

СЕРГЕЮ ДРОФЕНКО

9 сентября в результате несчастного случая погиб поэт Сергей Дрофенко.

Сереза — опоздали лекари!
Сереза — не закуришь «Винстона»,
смущающийся до корректности,
служитель муз без раболепия...
Еще во вторник, кукарекая,
я сквозь окно тебя высвистывал
в живые заросли ветвистые
из заседанья редколлегии!

Да что слова! Одна софистика...

Такая чистота раздавлена.
Бессильны заклинанья «чайников».
И нет ни бога и ни дьявола,
и есть Всемирная Случайность.

Чего уж, все одно — не выживешь,
Летучей Вечности товарищ.
Из этой мглы тебя не вызовешь.
Лишь ты ночами вызываешь.

6

На спинку божия коровка
легла с коричневым брюшком,
как чашка красная в горошек
налита стынувшим чайком.

Предсмертно или понарошке?

Но к небу, точно пар от чая,
душа ее бежит отчаянно.



Всю ночь ныло сердце, а утром — шарах! —
снег выпал в горах.

Он выпал свободой от быта обычного,
напряженный туго с библейских высот,
как если бы Савская,
в брюках в облипочку,
паря над долиной, легла на живот.

Изыди, царица, с тоской недозволенной.
Не фотографируй кирпичный завод.
Но воздух шел кверху
магнитными волнами,
завгар Никодимов подал на развод.

6

Град, как беленькие блошки,
вылетает из травы,

или встряхивают трошки
нафталиновые дорожки,
мусульманские ковры.

6

Фиалочка с филфака
болонью запахнет,
приколота асфальту
на мокрый отворот.

Пикетчица надежды,
чесала бы домой!
Как ультиматум держит
часы над головой.

ОСЕННИЙ ДИЛИЖАН

Как золотят купола
в строительных легких лесах —
оранжевая гора
стоит в пустынных лесах.

Уже золотить пора бы.
Да запили мастера!
Горит грунтовкой оранжевой
окрашенная гора.

СВЕЧА

Зое

Спасибо, что свечу поставила
в католикосовском лесу,
что не погасла свечка талая
за грешный крест, что я ношу.

Я думаю, на что похожая
свеча, снижаясь, догорит
от неба к нашему подножию?
Мне не успеть договорить.

Меж ежедневных Черных речек
я светлую благодарю,
меж тыщи похоронных свечек —
свечу заздравную твою.

ФИАЛКИ

А. Райкину

Боги имеют хобби,
бык подкатил к Европе.
Пару веков спустя
голубь родил Христа.
Кто же сейчас в утробе?

Молится Фишер Бобби.
Вертинские вяжут (обе).
У Джиоконды улыбка портнишки,
чтоб булавки во рту сжимать.
Любитель гвоздик и флоксов
в Майданеке сжег полглобуса.
Нищий любит сберкнижки
коллекционировать!
Миров — как песчинок в Гоби!
Как ни крути умишком,
мы видим лишь божьи хобби,
нам Главного не познать.

Боги имеют слабости.
Славный хочет бесславности.
Бесславный хлопочет: «Ой бы,
мне бы такое хобби!»
Но не ломайте копий,
отдайте тому, кто копит.
Боги желают кесарева,
кесарю нужно богово.
Бунтарь в министерском кресле,
монашка зубрит Набокова.
А вера в руках у бойкого.

Боги имеют баки —
висят на башке пускай,
как ручка под верхним баком,
воду чтобы спускать.
Не дергайте их, однако.

Но что-то ведь есть в основе?
Зачем в золотом ознобе
ниспосланное с высот
аистовое хобби
женскую душу жмет?
(Не проще ль родиться в колбе?
Затем, чтобы сбить коллеге
спичечные наклейки?)

У бога ответов много,
но главный: «Идите к богу!»...

...Боги имеют хобби —
уоставши миры вращать,

6

Да здравствуют
прогулки в полвторого,
проселочная лунная дорога,
седые и сухие от мороза
розы черные коровьего навоза!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справосидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

Неужели астронавты завтра улетят на Марс,
а послезавтра
вернутся в эпоху скотоводческого феодализма?

Неужели Шекспира заставят каяться
в незнании «измов»?

Неужели Стравинского поволокут
по воющим улицам?

Я думаю, правó ли большинство?
Право ли наводнение во Флоренции,
круша палаццо, как орехи грецкие?
Но победит Чело, а не число.

Я думаю — толпа иль единица?
Что длительней — столетье или миг,
который Микеланджело постиг?
Столетье сдохло, а мгновение длится.

Я думаю...

Народ не бывает Кучумом. Кучумы — это
божки.
Кучумство — не нация Лу Синя и Ци Бай-ши.
При чем тут расцветка кожи?

Мы знали их,
белокурых.

Кучумство с подростков кожу
сдирало на абажуры.

Кучумы — цари и боссы.

Тираня избу и чум,
поправши Кучумку, Грозный
сам правил как сверхкучум.

По радио, как колотушка, шовинистический шум.
Вы скажете — «маскультура»,
а я говорю — «кучум»!
Чавкая чуингамом, впечатывая каучук,
за волосы дочь Вьетнама волочит неокучум.

Неужто Париж над кострами вспыхнет,
как мотылек?
К чему же века истории, коль снова
на четырех?



Гляжу я, ночной прохожий,
на лунный и круглый стог.
Он сверху прикрыт рогожей —
чтоб дождичком не промок.

И так же сквозь дождик плещущий
космического сентября,
накинув
Россию
на плечи,
поеживается Земля.

ЛЁД



Памяти Светланы Поповой, студентки 2-го курса МГУ

ПРОЛОГ

**«На антарктической метстанции
нам дали в дар американцы
куб, брызнувший иллюминацией, —
«Лед 1917-й»!**

**Ошеломительно чертовски
похолодевшим пищеводом
хватить согретый на спиртовке
глоток семнадцатого года!**

**Уходит время и стареет,
но над планетою, гудя,
как стопка вымытых тарелок,
растут ледовые года».**

**Все это вспомнил я, когда
по холодильнику спецльда
меня вела экскурсовод,
студентка с личиком калмычки,
волнуясь, свитерок колыша.
И вызывала нужный год,
как вызывают лифт отмычкой.**

ЛЬДИНА ПЕРВАЯ

Лед! —

**Страшон набор карандашный —
год черный и красный год,
— лед, лед —**

**лед тыща девятьсот кронштадтский,
шахматный, в дырах лед!
— лед, лед, лед —**

**лед тыща семьсот трефовый
от врытых по пояс мятежников,
— лед, лед, лед, лед —**

**лед тыща девятьсот блефовый
невылупившихся подснежников,
— лед, лед, лед, лед, лед —
июньский сорок проклятый,
гильзовая коррозия,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед —**

**лед статуи генерала,
облитого водой на морозе!
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —**

**лед тыща девятьсот зеленый,
грибной, богатый,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —**

**лед тыща девятьсот соленый
от крови с сапог поганых,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —**

**лед тыща восемьсот звенящий,
трехцветный, драгунский,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —**

**в соломе потелый ящик —
лед тыща шестьсот Бургунский!**

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
лед тыща семьсот паркетный,
России ледовый сон,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
и малахитовых колонн
штаны зеленые, вельветовые
[книзу расширенный фасон]!
«И чуть-чуть вздутые на коленях», —
добавила экскурсовод.

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Лед

тыща триста фиолетовый,
шелк католических сутан,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
меч хладный, потóm согретый,
где не дыша лежат валетом:
Изольда, меч, Тристан.
И жмут соловьи отпетые —
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
чтоб лед растопить и лечь:
Изольда, Тристан, меч.

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Год активного солнца,
букашкой в янтаре
лодочка наша засохла
в лимонной ломкой заре.
«Ау, — скажу я, — друг мой тайный,
в году качаешься хрустальном,
дыханье одуванчиком храня...»

Но тут экскурсовод меня
одернула и покраснела

и продолжала пояснения:
«Дыханье сонное народов
и испаренья суеты
осядут, взмыв до небосвода,
и образуют льды.
И взвешивают наши вины
на белоснежной широте,
как гирьки черные, пингвины,
откашливая ДДТ.
Лед цепкой памятью наслоен.
Лишь 69-й сломан».

Лед первой телепередачи, —
я, бабушка в туфлях с опушкой, —
след, след, след, след, след, след, след, след —
ссадина на льду предательском:
стреляя, поскользнулся Пушкин.

[Осунулась экскурсовод.]

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
туманный, как в трубе подзорной,
год тыща сколько-то позорный
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
И неоплаченной цены
лед неотпущенной вины
— лед, лед, лед, лед, лед, лед —
Особый лед, где весело
проспиртованное население,
С носами — как в пломбировке клубника.
Наверно, прошлый век. Глубинка.
Рыбачков ледовое попоище,
и по уши
мальчонка в проруби орет:

«Живой я!»

— *лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед* —

Ты вздрогнула, экскурсовод!

**Поводырек мой, бука, муза,
архангелок с жаргоном вуза,
мы с нею провели века.
Она каким-то гнетом груза
томилаь, но была легка
в бесплотной солнечной печали,
как будто родинки витали
просто в луче. Ее движенья
совсем не оставляли тени.
Кретин! Какая тень на льду!
Иду.**

**До дна промерзшая Лета.
Консервированная История.
Род человеческий в брикетах.
Касторовый
лед, смерзшийся помоями.
В нем тонущий. (Подлец, по-моему.)
«Бог помощь!» — скорбно я изрек.
Но побледневши: «Помощь — бог», —
поправила экскурсовод.**

Лед

исторических беспутств, запущенный гнилой аквариум.

Пусть.

Мы разговариваем.

**Она: «Я так люблю, когда
гляжу как рыбка из-под льда —**

**Измайловского катка
проносится цветастый верх
в царапинах, как фейерверк!
Вон шапочка, как земляника.
Взгляните-ка...»**

Лед

**тыща девятьсот сорок распадный.
Полет. Полет. Полет. Полет. Полет.**

И в баре бледный пилот:

«Без льда, — кричит, — без льда — не надо».

Он завтра в монастырь уйдет.

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

**Прозрачно, как анис червивый,
замерзший бюрократ в чернильнице**

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Искусственный

горячий лед пустых дискуссий.

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Лед тыща девятьсот шестьдесят пятый,

все в синих болоньях красивы,

в троллейбусы целлофановые вмяты,

как свежемороженые сливы.

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Зеркало мод.

Камзол. Парик. Колготки. Шлейф кокетки.

Зад скрыт, а бюст — наоборот.

Год, может, девятьсот какой-то!

А может — тыща восемьсот!

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

**Отхаркивает печенег
радиоактивные осадки.
И над Стокгольмом красный снег
стоит червонною девяткой.**

ЛЬДИНА ВТОРАЯ

**Лед тыща девятьсот хоккейный.
Мазило — гений!
Игра «кто больше не забьет».
Счет (—3) : (—18).
Вратарь елозит на коленях
с воротами, как с сетчатым сачком,
за шайбочкой. А та — бочком, бочком!
Класс!
В глаз. В рот. Пасс. Бьет! Гол!! Спас!!! Ас. Ась!
Финт. Счет! Вбит. В лед.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —**

**Захлопала экскурсовод
и ключик выронила. Ой!
Я поднял. (В шестьдесят девятый
летели лыжники, как ватой,
объята Кольскою зимой.)
Она повисла на запястье:
«Я вас прошу! Там нет запчастей...
Не нажимайте! В этом марте...»
Но поздно. Я нажал. Она
разжала пальцы: «Вновь вина
и снова — ваша», — сказанула
и в лед, как ящерка, скользнула.**

**{Сквозь экран в метель летели лыжники,
вот одна отбилась в шапке рыженькой.
Оглянулась. Снегом закрутило
личико калмыцкое ее.}
Господи! Да это ж Катеринка!
Катеринка, преступление мое.**

**Потерялась, потерялась Катеринка!
Во поле, калачиком, ничком.
Бросившие женщину мужчины
дома пробавляются чайком.**

**Оступилась, ты в ручей проваливаешься.
Валенки во льду, как валуны.
Катеринка, стригунок, бравадочка,
не спасли тебя «Антимиры»!**

**Спутник тебя волоком шарашит.
Но кругом метель и гололедь.
Друг из друга сделавши шалашик,
чтобы не заснуть и обогреть,**

**ты стихи читаешь, Катеринка.
Мы с тобой считали «Слово — бог».
«Апельсины, — шепчешь, — апельсины»...
Что за бог, когда он не помог!**

**Я слагал кощунственно и истово
этих слов набор.
Неотложней мировые истины:
«Помощь». «Товарищи». «Костер».**

**И еще четвертая: «Мерзавцы».
Только это все равно уже тебе.
Задышала. Замерла. Позамерзает
строчка Мэрлин на обманутой губе.**

· · · · ·
**Вот и все. Осталась фотокарточка.
С просьбою в глазу.
От которой, коридором крадучись,
я остаток жизни прохожу.**

ЭПИЛОГ

**Утром вышла девчонкой из дому,
а вернулась рощею, травой.
По живому топчем, по живому —
по живой!**

**Вскрикнет тополь под ножом знакомо —
по живому!**

**По тебе, выходит, бьют патроны,
тебя травят химией в затоках,
от нее, сестра твоя и ровня,
речка извивается жаровней.
Сжалась церковь под железным ломом —
по живому,
жгут для съемок рыжую корову,
как с глазами синими солону, —
по живому!**

**Мучат не пейзажную картинку —
мучат человека, Катеринку.**

**«Лес, пусти ее хоть к маме на каникулы!» —
«Ну, а вы детей моих умыкивали!
Сами режут рощу уголовно,
как под сердце жеребенку луговому —
по живому!»**

**Плачет мое слово по-земному,
по живому, по еще живому.**



**Есть холмик за оградой Востряковской,
над ним портрет в кладбищенском лесу.
Спугнувши с фотографии стрекозку,
тетрадку на могилу положу.**

**Шевелит ветер белыми листьями,
как будто наклонившаяся ты —
не Катеринка, а уже Светлана —
мои листаешь нищие листья.**

**Листай же мою жизнь, не уповая
на зряшные жестяные слова...
Вдруг на минутку, где строка живая, —
ты тоже вдруг становишься жива.**

**И говоришь, колясь в щеку шерстинкой,
остриженная моя сестричка,
ты говоришь: «Раз поздно оживить,
скажи про жизнь, где свежесть ежевик,
отец и мама — как им с непривычки!
Где Джой прислушивается к электричке,
не верит, псина. Ждет шагов моих».
И трогаешь последнюю страничку
моей тетрадки. Кончился дневник.**



**Светлана Борисовна, мама Светланы,
из джоинной шерсти мне шапку связала,**

**связала из горечи и из кручины,
такую ж, как дочери перед кончиной.**

**Нить левой сучила, а правой срезала,
того, что случилось, назад не связала...**

**Когда примеряла, глаза отвела.
Всего и сказала: «Не тяжела!»**

ЛЕДОВЫЙ ЭПИЛОГ

**Лед, лед растет неоплатимо,
вину всеобщую копя.**

**Однажды прорванной плотиной
лед выйдет из себя!**

**Вина людей перед природой,
возмездие вины иной,**

**Дахау дымные зевоты
и социальные невзгоды
сомкнут над головою воды —
не Ной,**

**не божий суд, а самосуд,
все, что надышано, накоплено,
вселенским двинется потопом.
Ничьи молитвы не спасут.**

**Вы захлебнетесь, как котята,
в свидетельствовании нечистот,
вы, деятели, коптящие
незащищенный небосвод!**

**Увы, надменные подонки,
эксплуататоры труда,
куда вы скроетесь, когда
потопом
сплощует ваши города!!**

**Вы, жалкою толпой обслуживающие патронов,
свободы,**

гения и славы

палачи,

**лед тронется
по-апокалиптически!**

**Сполоснутые отечества,
сполоснутый балабол,
сполоснутое человечество.
Сполоснутое собой!**

**И мессиански и судейски
по возмутившимся годам
двадцатилетняя студентка
пройдет спокойно по водам.**

**Не замочивши лыжных корочек,
последний обойдет пригорочек
и поцелует, как детей,
то, что звалось «Земля людей».**

P. S.

«... Человек не имеет права освободить себя от ответственности за что-то. И тут на помощь приходит Искусство... Да, Искусство с его поисками Красоты, потому что Красота это всегда добро, всегда справедливость. Красота не только произведений искусства, природы, но и красота жизни, поступков. Я себе без этого «качества» (роста культуры в глубину) коммунизм не представляю. Ведь это «качество» и есть коммунистические отношения между людьми. Меня и биология интересует больше с гуманитарно-философской точки зрения».

(Из сочинения Светланы Поповой)

P. P. S.

**На асфальт растаявшего пригорода
сбросивши пальто и буквари,
девочка**

в хрустальном шаре

прыгалок

тихо отделилась

от земли.

**Я прошу шершавый шар планеты,
чтобы не разрушил, не пронзил
детство обособленное это,
новой жизни**

радужный пузырь!

СОДЕРЖАНИЕ

С УМА ВЫ НЕ СОЙТИ

Исповедь	7
Собакалиписис	9
Зауральская пляска	13
Песня акына	15
Соловей-зимовщик	17
2 секунды 20 июня 1970 г. в замедленном дубле	20
Двоюродная жена	25
Декабрьские пастбища	26
Донор дыхания	29

СКРЫТАЯ КАМЕРА

Молитва	33
Женщина в августе	35
Кабанья охота	36
Две песни про мотогонщика	42
Ясени любят	45
Хозяйки	46
Скупщик краденого	48
Храм Григория Неокесарийского, что на Б. Полянке	54
«Жадным взором василиска...»	57
Кромка	58

АУ, ВАНКУВЕР!	59
Вслепую	89
«Меня тоска познания точит...»	91
«Сложи атлас, школярка шалая...»	92
Автомат	94
Пианистка	96
«Где-то свищет, где-то, где-то...»	98
Молчаливый звон	99
Водные лыжи	101
Яблоки с бритвами	108
«АВОСЫ!»	113

ДУБОВЫЙ ЛИСТ ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЙ

Ода дубу	143
«Увижу ли...»	146
Реквием оптимистический по Владимиру Семенову, шо- феру и гитаристу	147
«Мы нарушили Божий завет...»	150
Величальная открытка В. Бокову	152
В темном углу районного крытого рынка	153
«Я хочу в осенней дали...»	158
Ах, небо как море...	159
Цветная песенка	160
«Айда, пушкинианочка...»	162
Песенка из спектакля	164
Жестокий романс	166
Романс	168
Читая Махамбета	169
Заповедь	170
Горный монастырь	172
Сергею Дрофенко	173
Рано	175
«На спинку божия коровка...»	176
«Всю ночь ныло сердце...»	177
«Град, как беленькие блошки...»	178
«Фиалочка с филфака...»	179

Осенний дилижан	180
Свеча	181
Фиалки	182
«Да здравствуют прогулки...»	185
Правила поведения за столом	186
Строки	188
 ЛЕД 69	 191

Вознесенский Андрей Андреевич

ВЗГЛЯД

М., «Советский писатель», 1972, 208 стр. План выпуска 1972 г. № 111. Редактор Е. С. Елисеев. Худож. редактор Д. С. Мухин. Техн. редактор Р. Я. Соколова. Корректоры: Л. И. Жиронкина и Н. П. Задорнова. Сдано в набор 13/IX 1971 г. Подписано к печати 2/III 1972 г. А05841. Бумага 70×108¹/₃₂. Печ. л. 6,5 (9,1). Уч.-изд. л. 5,37. Тираж 100 000 экз. Заказ № 24. Цена: в суперобложке 61 коп., без суперобложки 58 коп. Издательство «Советский писатель», Москва, В. Гнездиковский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

58 коп.

Г